

84P7 (2P-4Kеm)
0-38

ISSN 0206—0248

2•1988

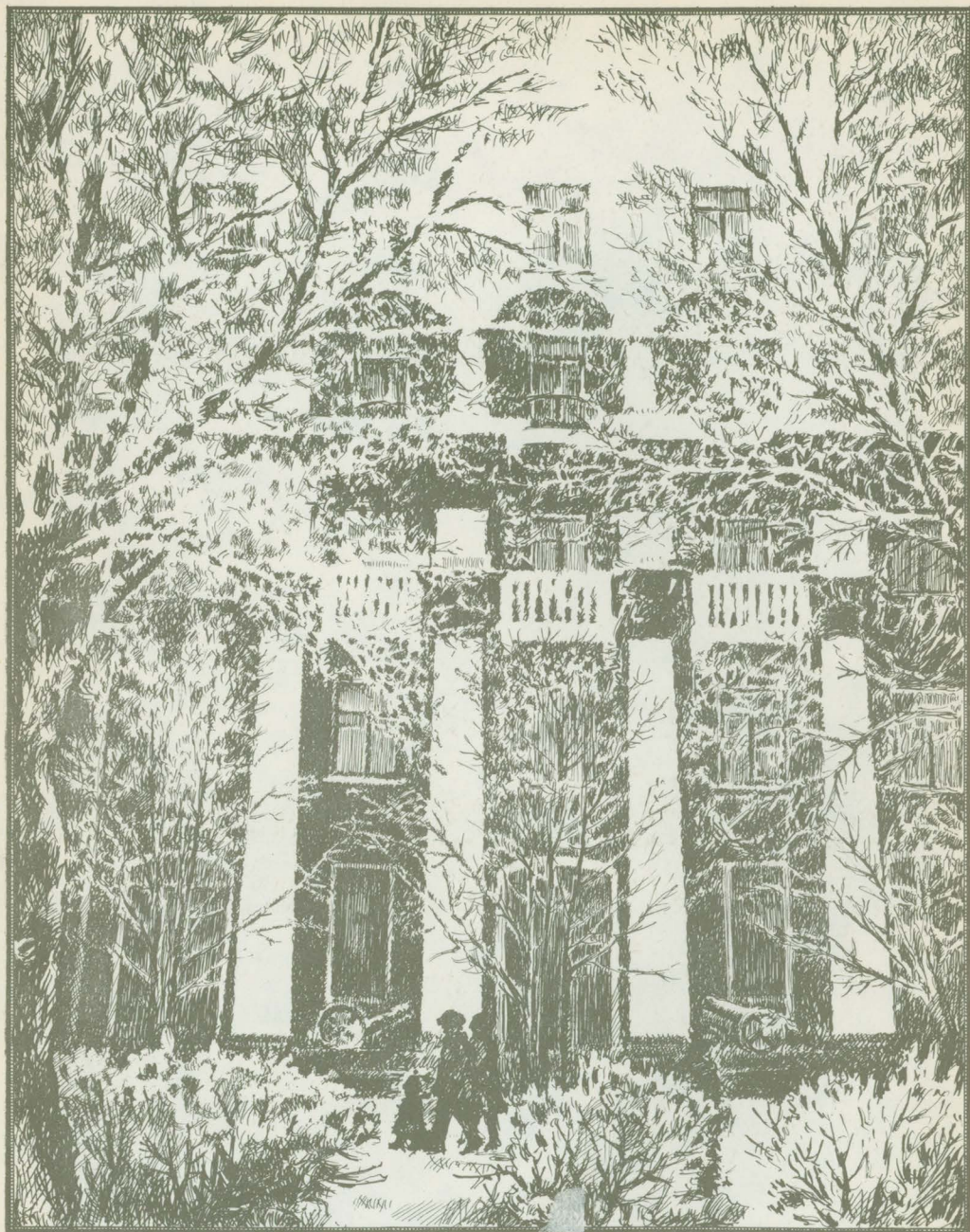
Апрель — июнь

ОГНИ КУЗБАССА

Кемерову — 70 лет



634 133



ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

8497 (2Р-4Кем)
0-38

В НОМЕРЕ

Редактор

Виктор БАЯНОВ

Редакционная коллегия:

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

Владимир ИВАНОВ

Николай КОЛМОГОРОВ

Владимир КУРОПАТОВ

Владимир МАЗАЕВ

Владимир МАТВЕЕВ

Валентин МАХАЛОВ

(отв. секретарь)

Зинаида ЧИГАРЕВА

Геннадий ЮРОВ

Сергей ДОНБАЙ

КЕМЕРОВУ — 70 ЛЕТ

Город у Красной горы. (Беседа журналиста Б. Синявского с председателем Кемеровского горисполкома В. Михайловым)

3

ПОЭЗИЯ

Павел Майский. «Мир невелик...», «А на Тельбесе выпал первый снег...», Полевые цветы, «Не те я книги в юности читал...», «Слова в стихах...», Из разговора 8
Семен Печеник. Старый колодец. Эвакогоспиталь 9
Валерий Ковшов. «Я родился и вырос в деревне...», «Как хочется порою быть похожим...» Выбор 54
Галина Золотайна. Мать. «Кто мы, милый, с тобой...» Возок, «Я опять, междометствуя, окаю...» 55

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Надежда Ма Динь. «Дни идут в осенней стыни...», «Сон как будто в руку...», Чужое счастье

56

ПРОЗА

Мэри Кушникова. Синдром Горячева. Повесть.

10

НАШ СОВРЕМЕННИК

Николай Колмогоров. На горе, на косогоре. Очерк-повествование

57

ПАМЯТЬ СИБИРИ

В. Мазаев. Документы суровых лет

72

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Владимир Соколов. Реки впадают в море

78

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Владимир Ширяев. Улица весенних собачек. Ревизоры. Соседка. «Что ж, смена поколений есть закон...»

87



390582

Кемеровское
книжное
издательство
1988

Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40.
Тел. 26-88-48, 26-85-14

НАШИ АВТОРЫ

Рукописи
не возвращаются

Редактор издательства
Л. В. Глебова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор
Л. В. Волковская

На 1—4 стр. обложки—работы *В. П. Кравчука* из серии «Кемерово», тушь, акварель, гуашь.

Майский Павел Николаевич род. в 1937 г. на Центральном руднике Кемеровской области. Член СП СССР, автор поэтических книг «Взмах крыла», «Сарбалинская распада», «Высокие туманы», «Солнечная деляна» (Кемерово, Москва). Живет в Новокузнецке.

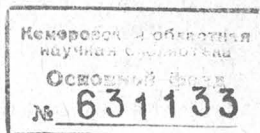
Печеник Семен Аркадьевич род. в 1940 г. в Киеве. Окончил Кемеровский мединститут, работал на одной из его кафедр. Автор сб. стихотворений «Полюнь на ветру» (Кемерово). Живет в Кемерово.

Кушникова Мэри Моисеевна род. в Кишиневе. Окончила Дрогобычский пединститут и Черновицкий университет. Автор книг очерков «Остались в памяти края» и «Искры живой памяти» (Кемерово). Живет в Кемерово.

Ковшов Валерий Васильевич род. в 1948 г. в дер. Красный Ключ Кемеровской области. Автор сборника стихотворений «Свет внезапный» (Кемерово). Живет в деревне Красный Ключ.

Золотанна Галина Михайловна род. в Ленинске-Кузнецком. Окончила медучилище, работает на камвольно-суконном комбинате. Автор сб. стихотворений «Миг прозрения» (Кемерово). Живет в Ленинске-Кузнецком.

Колмогоров Николай Максимович род. в 1923 г. в селе Колмогорово Яшкинского района Кемеровской области. Участник Великой Отечественной войны, принимал участие в боях с Японией, после освобождения Маньчжурии и Кореи до демобилизации (1947 г.) служил в Северной Корее и сотрудничал в редакции дивизионной газеты «Отвага». Работал в редакциях Яшкинской и Юргинской районных газет. Член КПСС и член СЖ СССР. Живет в Юрге.



Сдано в набор 02.02.88. Подписано к печати 18.03.88. ОП00007. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 6,44. Усл. кр.-отт. 7,31. Уч.-изд. л. 7,65. Тираж 7000 экз. Заказ № 861. Цена 45 к. Кемеровское книжное изд-во. Кемеровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

О 4702010200—29 88
М 145(03)—88

© Кемеровское книжное издательство, 1988

ГОРОД У КРАСНОЙ ГОРЫ

В этом году исполняется 70 лет со дня присвоения Кемерову статуса города. Предлагаемая читателю беседа с председателем Кемеровского горисполкома В. В. Михайловым состоялась накануне юбилея.

Владимир Васильевич, сейчас много идет разговоров о необходимости беречь память об истории наших городов и сел. Видимо, и семидесятилетие Кемерова стало какой-то отправной точкой для изменения направления патристического воспитания в городе. Видимо, юбилей — как раз тот повод, который заставляет нас оглянуться и внимательно посмотреть на прожитые нами годы.

В. В. Безусловно. Мы еще и еще раз внимательно изучили историю Кемерова. Празднуя, мы не забываем при этом, что именно на территории нашего Рудничного района в 1721 году русский рудознавец Михаила Волков нашел «горючий камень», т. е. именно здесь, в Кемерове, начинался Кузбасс. Не забываем мы и того, что еще в 1701 году в географическом атласе Сибири на чертеже «Земли Томского города» тобольским картографом и географом Семеном Ульяновичем Ремезовым была указана деревня Щеглова — «при впадении в Томь Безымянной речки».

Мы это хорошо помним, и неслучайно красочный фотоальбом, издаваемый творческой студией «Панорама» по нашему заказу, назван «Город у Красной горы». Да, жизнь Кемерову

дала Красная гора, в недрах которой еще в восемнадцатом веке копали уголь. Первый уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который состоялся в мае 1918 года, и принял решение о преобразовании села Щеглова в город Щегловск, горячо поддержанная В. И. Лениным инициатива Рутгерса, Баркера, Хейвуда и Кальверта по созданию в Кемерове автономной индустриальной колонии иностранных рабочих и специалистов, а самое главное — Великая Октябрьская социалистическая революция создали наш город.

Мы помним, что к истории нашего города причастны такие выдающиеся люди, как А. В. Луначарский, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, Л. И. Лутугин, М. К. Курако, И. П. Бардин — эти имена дороги для нас. Подготовка к юбилею позволила пересмотреть наше отношение к патристическому воспитанию. Мы не всегда умело использовали наше историческое наследие, наши памятники. В дальнейшей работе мы планируем опираться на широкую общественность. Благо у нас есть горячо заинтересованные люди. Историк Н. П. Шуранов, журналист И. А. Балибалов, поэт Г. Е. Юров — это лишь три имени, а их много, патристов своего родного города.

Постскрипtum первый: Есть все же смысл в подобных юбилеях. Появляется возможность остановиться, оглянуться, сравнить. То, хотя бы, как праздновали 50-летие нашего областного центра. Несравненно больше было тогда парадности и напорочь отсутствовала критическая нота.

Симптоматично, что В. В. Михайлов, заведя речь о патриотизме, назвал конкретные имена. Раньше мы считали патриотизм чувством массовым и априорным, полагая, что оно не зависит от личного опыта конкретного человека, а тем более от причин объективного характера. Считалось, что если ты родился и живешь в данном городе, то обязан быть его патриотом — таким подходом как раз и характеризуется выступление Е. А. Залесова, бывшего председателя Кемеровского горисполкома в одном из юбилейных сборников к 50-летию.

Не так давно мы поняли, что патриоты не произрастают сами по себе, что их надо воспитывать. И еще не так уж и сложная истина открылась нам — не только город вправе рассчитывать на уважение со стороны горожан, но и горожане должны видеть, что родной город почитает, любит их.

Мне, как человеку, принимавшему довольно активное участие в подготовке к 70-летию, бросилось в глаза именно это смещение понятий. За предъюбилейной суматохой на этот раз никто — ни в горкоме партии, ни в горисполкоме — не раздражался тем, что кемеровчане пытаются докопаться до истоков истории родного города, не принимают на веру сделанные однажды заверения.

Горожане понемногу становятся не только участниками, но и хозяевами преобразований. Именно поэтому при подготовке к юбилею были предприняты попытки заглянуть в те времена, когда еще не грянула над миром Великая Октябрьская революция — без

обращения к дооктябрьскому периоду не сможем понять, что же он есть изначально, наш город. Не стали мы на этот раз отмахиваться от страниц, которые ранее пролистывали наспех — наконец-то принято решение о создании музейного комплекса, рассказывающего о деятельности АИК «Кузбасс».

Но это лишь самое начало. Город наш Кемерово слишком долго был своеобразным полигоном бескультурного отношения к памяти, чтобы разом все можно было исправить.

Но продолжим наш разговор...

В. В. Конечно, и мы были бы в корне не правы, если бы не оценили всего того, что сделано нашими предшественниками, что делается руками наших тружеников сегодня. В грозные годы войны Кемерово не только дал фронту лучших своих детей в качестве бойцов, но и в самые короткие сроки приобрел новые, остро необходимые стране военные профессии. Это привело к развитию у нас машиностроения, которое сегодня представлено зрелыми, способными решать самые сложные задачи коллективами. Я не буду здесь перечислять славные наши заводы, фабрики, производственные объединения, строительные организации и шахты. Во время короткой беседы все не упомянешь, что будет просто несправедливо, т. к. все — многотысячный коллектив производственного объединения «Азот» и небольшой завод «Металлист», делают одно дело — дают продукцию стране. Без успешной деятельности нашего промышленного узла, начало которому дал кокострой, невозможно было бы решать проблемы социального плана.

До революции на территории современного Кемерово была одна-единственная церковно-приходская школа, сегодня же мы располагаем развитой

сетью учреждений детского дошкольного воспитания и народного образования. Сегодня мы ведем речь уже не просто о вводе в строй новых учебных корпусов, но и о сооружении их в комплексе с хорошей спортивной базой, с бассейнами, с компьютерными классами. Посетивший Щегловск в конце 1923 года народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Васильевич Луначарский в своей книге «Месяц по Сибири» восхищался школьным зданием в Щегловске на улице Карла Маркса. Мы стремимся продолжить добрые традиции.

Так и во всем. Мы имеем театры, филармонию, отделения творческих Союзов — писателей, художников, журналистов, архитекторов. Разработки наших медиков переходят в практику ведущих клиник страны. Наши самодеятельные коллективы гастролируют во многих странах мира...

Все это сегодняшней день Кемеров, но это же вселяет уверенность и в завтрашнем дне.

Постскриптум второй: Есть в Кемерове проблема, которую первый секретарь горкома партии В. И. Овденко в статье, открывающей в «Кузбассе» серию публикаций к 70-летию областного центра, назвал политической — это экология.

19 августа 1986 года газета «Советская Россия» сообщила своим читателям, что предельно допустимые нормы вредных веществ в воздушном и водном бассейнах Кемерова перекрываются в десятки, а в ряде случаев в сто с лишним раз. Аппаратчица Кемеровского производственного объединения «Азот», член постоянной комиссии областного Совета народных депутатов по охране окружающей среды, член бюро ОК КПСС Л. Боева писала 22 ноября 1986 года в «Правде»:

«Бывая в других городах, как говорится, благополучных в экологическом

отношении, полной грудью дышишь свежим воздухом, радуешься синеве чистого неба. А вернешься в родной город, невольно вздыхаешь, ну почему же у нас чистое небо стало редкостью? А взять нашу Томь? Здесь мы «шагнули» уже за пределы области. Предприятия города, сбрасывая вредные вещества в реку, лишили жителей Томска возможности брать из нее воду на питьевые нужды.

В Кемерове количество химических предприятий превышает уже допустимые нормы...

Да, кемеровчане хорошо знают, в каком городе они живут. Надо сказать, что были времена, когда наш горожанин, бывая в гостях у кого-либо в другом регионе, расхваливая свой край, непременно называл как достопримечательность Кузнецкий металлургический комбинат, шахту «Распадская», забывая порой упомянуть о Горной Шории. Что поделаешь, мы все переболели «технократическим восторгом». Были времена, когда мы точно знали, что коммунизм — это социализм плюс электрификация, плюс химизация. Не совершенство формулы могли допустить, но только в одном — добавить бы для верности две, а лучше три «...ции». Нам тогда казалось, что достаточно пары блестящих научных открытий, пары ярких технических решений и вот он, такой понятный, такой привлекательный именно понятностью своей «кнопочный» коммунизм.

Жизнь оказалась сложнее. Теперь нам впору стыдливо молчать о том, чем ранее хвалились. Тем, например, что не только построили в самом центре коксохимический завод, но не смогли позже его закрыть и даже провели реконструкцию, чем продлили его жизнь на беспредельно долгое время.

К своему 70-летию Кемерово подошел не только с реконструированными центральными улицами, но и с целым

комплексом нерешенных экологических проблем. Хватает и прочего. Поэтому дальнейший наш разговор о нерешенном.

В. В. На начало 1987 года население Кемерово достигло 560 тысяч человек, а ежегодный его прирост установился на цифре семь тысяч. Цифры в общем соответствуют тем, что предусматривалось генеральным планом развития Кемерово до двухтысячного года. Тем не менее, сегодня мы не имеем всего того, что было предусмотрено тем, принятым в 1972 году, планом. Конкретные, продиктованные жизнью обстоятельства, вынужденные паллиативные решения внесли коррективы в задуманное. Все становится понятным на примерах. Не начато строительство Петровской ТЭЦ, снят с повестки дня вопрос о сооружении в Кемерове крупного машиностроительного завода — в результате резко затормозилось развитие северной части Рудничного района. В Кировском же районе, напротив, жилые массивы возникали там, где по плану их быть не должно.

На левом берегу Томи генеральный план предусматривал практически паритетное развитие четырех планировочных районов: Центрального, Южного, Заисkitимского, Восточного, но на деле бурно развивался лишь Восточный район, где в короткое время на площади более чем в 500 га разместилось почти два миллиона квадратных метров жилья. В общем-то понятно, почему так получилось: при развитии Заисkitимского района пришлось бы сносить значительное количество частного жилья, расположенного вдоль Томи, а и без этого в городе осуществляется очень напряженная программа переселения людей из санитарно-защитной зоны в Ленинский район.

Ясно-то ясно, но далее так оставить-

ся не могло. Городской комитет партии, горисполком решили кардинально изменить ситуацию. Осенью 1987 года прошла сессия городского Совета народных депутатов, на которой были рассмотрены вопросы развития градостроительного комплекса Кемерово. Сессию ту без преувеличения можно считать поворотным пунктом в истории города. На помощь была призвана гласность: доклад предварительно обсуждался в трудовых коллективах, через газету «Кузбасс», с помощью выставок, дней архитектуры в районах.

Решения на сессии были приняты многозначные и объемные, скажу о них вкратце. Чтобы много и хорошо строить, надо иметь развитую базу, поэтому решено реконструировать домостроительный комбинат, переведа его при этом на новую серию; реконструировать трест «Железобетон». В городе будет построен новый завод крупнопанельного домостроения.

Город не может расти и без достаточно развитой коммунальной базы — будут реконструированы существующие и сооружены новые водозаборы, значительно улучшится ситуация с теплоснабжением.

Наш век породил поговорку: «Нет больших расстояний, есть плохие дороги и ненадежный транспорт». Дорожное хозяйство Кемерово накапливало проблемы десятилетиями, а теперь нам гордиев этот узел надо решительно разрубить. В городе интенсивно идет реконструкция существующих магистралей. Стали скоростными трассами улицы Николая Островского, Красноармейская, преобразается проспект Кузнецкий. Через реки Томь и Искитимку будут проложены новые мосты. Появятся транспортные развязки в двух уровнях. Откроются новые автобусные маршруты. Троллейбусы повезут пассажиров по проспекту Октябрьскому и по улице Терешковой.

Получит развитие транспорт, который давно уже не развивался — трамвай.

Интенсивно будут застраиваться Заводский и Ленинский районы — почти три миллиона квадратных метров жилья будет введено здесь. Активно начнет развиваться Южный планировочный район, не отстанут от него Заискигимский и Восточный. В Кировском предусмотрено строительство микрорайона «Крутой», а Рудничный район «зашагает» к шахте «Северная».

К концу XX века в Кемерове намечено построить более сотни детских дошкольных учреждений, 33 школы, 12 больниц, 24 поликлиники, четыре кинотеатра, театр кукол, новое здание Дворца пионеров и школьников, ипподром, ярмарочный комплекс, второй городской рынок, Дворец спорта производственного объединения «Азот».

Рабочий наш город в будущее свое смотрит уверенно.

Интервью взял
Б. Синявский

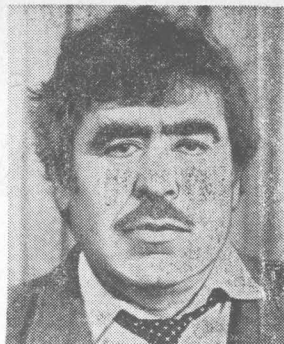
* * *



* * *

* * *

8



СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ

Глубинный сруб
С замшелыми боками
Приветит вас
И в ясный день,
И в хмарь.
...Как я, здесь воду
Жадными глотками,
Припав к ведру,
Пил загнанный бунтарь.
Как вековые кольца,
Стынут бревна,
А вниз взгляни —
На них наплывы льда.
И ртутью блестящей
В темени неровной
Колышется
И шепчется вода.
О чем?!
О том, как пальцы старовера
Двумя перстами
Осеяли сруб
За то, что охлаждал
Он пыл безмерный,
Тот фанатичный пыл
Горящих губ?
Вокруг колодца —
Медом пахнут травы.
На дне колодца —
Блики облаков.
В той стылой влаге
Дремлет полноправно
Земная сила дедов и отцов.

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ

Эвакогоспиталь в Мариинске.
Мемориальная доска...
Нет не простая это вывеска —
Тоска, как пуля у виска.
Вот здесь, метался на подушке
Под Курском раненный танкист,
Срывал бинты и с криком «Душно!»
Однажды с койки рухнул вниз.
Железный лягз нейдет из памяти.
Броня в броню,
Лицо в лицо...
Ах, хоть бы раз по первой замяти
Подняться, выйти на крыльцо!
Корежит тело боль несносная,
Нет-нет — кого-то унесут...
Год сорок третий. Время грозное.
И — все для фронта —
Жизнь и труд.
И на глазах у санитарочки —
Такая горькая слеза:
Она бы с ним — такая парочка!
Постой! Не закрывай глаза!..

Мэри Кушникова

СИНДРОМ ГОРЯЧЕВА

ПОВЕСТЬ*



Если бы не «случай Митрофанова», вряд ли бы я сидела сейчас перед ларцом, о котором годами не вспоминала. Хотя стоит он в моей комнате на полке, что называется, под рукой. Просто как бы перестала его видеть. Стоит и стоит. Предмет интерьера — как пепельница, подсвечник...

А сейчас из него — вместе с записями, документами, тоненькой книжицей стихов Омара Хайяма в не ахти каком переводе начала века, которую я хранила в память об отце, — стеной поднялись годы. Давно минувшие и не самые легкие в моей жизни, — что прошли под знаком Горячева. Профессора Николая Васильевича Горячева, чье имя прочно вошло в историю науки.

Сегодня, когда с той поры минуло чуть не четверть века, я могу как бы со стороны взглянуть на «дело Горячева», — да что могу, должна вновь все представить! — а без этого как «случай Митрофанова» понять?

Вот они передо мной, горячевские записки. Ну и что такого в них было, в этих записках? Предельное обнажение души — дивное в те поры. Но — не сейчас. После всех откровений, коими за долгие годы врачебной практики почтили меня иные мои пациенты...

...Да если бы дело только в Митрофанове. Ведь вот — тоже мой пациент. Директор крупного предприятия. От него, что ли, не тянутся ниточки к ларцу же?

Кажется, достаточно приметная фигура, этот мой пациент. Умен, лиричен, пишет стихи — и, кажется, неплохие стихи, — тонко чувствует музыку. Сам ведет — и других умеет заставить — такие работы, на которые, по мнению авторитетов, даже в будущем станут оглядываться с изумлением. И что же — разве не приходится (и все чаще) мчаться к нему, услышав в трубке затравленный его голос? А приходишь — разговор о «кровавых мальчиках». Потому что — сколько человеческого достоинства, сколько научных дерзаний — не корифеев, нет, а, конечно же, «малых сих» от науки, — им разгромлены и сметены с магистрали, по которой на всех парах мчится этот мой подопечный. Притом, что ни разу не сумел однозначно ответить — а ради чего? Как-то на мой вопрос: «Что же, по вашему, совесть?» — сперва опешил, а потом кинулся к энциклопедии: «А вот мы сейчас найдем...»

Иногда он заявляет: «Не точу строить науку на слезах младенца!» А иногда, будто кокетничая, спрашивает: «Разве я бездушен?» Порой его мучает иное — что не большую науку строит он, а круша то, что, по его мнению, тормозит ее, просто сметает мешающее ему лично. Его марширует — от премии к званию, от почета к славе. «Понимаете, — говорит он

* Повесть публикуется в сокращенном варианте.

в мрачные свои часы, — я как-то не заметил, но с годами все так переpleмлось...»

СЛУЧАЙ МИТРОФАНОВА. Итак — раздался звонок из второстепенного отраслевого института. Предупредили: ко мне обратится больной. Весьма уважаемый научный работник, у которого пошаливает сердце. Вероятно, из-за нервного расстройства. Цель звонка? Помочь в будущем диагнозе. У этого почтенного человека — хроническая тревога. Кто-то де посягает на его идеи и покушается на его научную тематику. Я ответила, что в рекомендациях не нуждаюсь — обследование покажет. В трубке послышался ернический смехок: обследование, мол, обследованием... Собеседник назвал себя: «Эрихман, заведомо аналитической химии». Судя по разговору, даже по интонациям, — человек скорее гуманитарного склада. Как потом оказалось, я видела его несколько раз по телевизору. Он вел для школьников химические викторины, натужно выискивая эффектные ходы. Школьники явно скучали.

Больной пришел на прием в поликлинику, где я консультировала вместе с невропатологом. Аритмия, учащенный пульс, слабость. Да, лежал в кардиологии. Год назад. С такими же симптомами. И — ни слова о служебных неполадках...

Поначалу общая картина получалась не очень сложная: больной Митрофанов Григорий Александрович приехал в наш город из Прибалтики. Устроился на работу в отраслевой институт, хотя до того двадцать лет проработал в академическом. Был он там, у себя в Прибалтике, и секретарем ученого совета, и редактором Академических Известий. Закончил докторскую работу, которую оставалось только оформить — но вот обстоятельства помешали. В академическом институте пользовался правом аспирантуры, имел на счету с десятков кандидатских работ, с блеском защищенных его аспирантами. (Это я узнала потом, — в рассказе самого Митрофанова все выглядело куда скромнее!)

И вот Митрофанов втиснулся в рамки

отраслевого института, где большая часть сотрудников не только не имела научных степеней, но настолько не жаждала их, что затолкнуть в аспирантуру хоть кого-нибудь директору — человеку волевых решений, как он сам себя называл, — просто не удавалось. И Митрофанову в праве аспирантуры отказали. Тематика, которую он привез, ложилась в интересы местной промышленности, но ее закрыли — она была по академически обширной, и потому боязливый институт заколебался: а вдруг Митрофанов потребует лишних сотрудников? Но он с пеной у рта свою тематику отстаивал, доказывал, что ничего под нее не попросит. Лишь бы дали работу. И действительно не просил. А тему вел. К теме стали приглядываться нескорые на соображение, но восприимчивые в выгоде старшие научные сотрудники. Митрофанов ликовал — он был из породы дарящих — и сыпал идеями. Осторожные сэнэсы держались непроницаемо, но аккуратно подхватывали митрофановские блестящие и потихоньку дублировали его работы. Гуманитарного склада Эрихман, тайно страдавший оттого, что аналитическая химия озарениями его не дарила, потихоньку предприимчивых молодцов поддерживал. И они потихоньку нагнали. Так что в конце концов вовсе отказались показывать завлабу Митрофанову свои отчеты. Они несли их прямо к Эрихману...

Я нарочно познакомилась с этим довольно-таки типичным околонульным Эрихманом. Мне хотелось понять, чем он этих молодцов обаял. Что-то в нем было от моего бывшего удачливого супруга Володи. Канареечного цвета водолазка и потертые джинсы на долговязом Эрихмане так и заигрывали с падкими на «фирму» мальчиками. У Эрихмана был квакающий тенорок, вкрадчивые манеры, и — смешно, он, очевидно, увлекался Хайямом и в наших разговорах даже несколько раз его цитировал. Совершенно как некогда — Горьчев. И я про себя отметила — сейчас такое увлечение не только не считалось

вольностью, как в горячевскую пору, а, напротив, аттестовало широту взглядов. Нынче культура — вернее ее знаковость — как никогда, служит ступенькой к успеху. И еще я отметила после разговора с Эрихманом, что двадцать лет назад, когда разыгралась горячевская история, закулисная «игра созвездий» прикрывалась хотя бы легким флером. Сейчас никакого флера не предлагалось. Эрихман объяснил мне: Митрофанов мешает защитить кандидатские работы двум толковым ребятам. Нависает к ним руководителем, тогда как сам от времени отстал. В чем отстал? Все еще верит, что при защите, а тем более при аттестации в ВАКе, имеет значение качество самой диссертации, а потому диссертантов «жмет к ногтю» — требует бесконечных уточнений и переуточнений, — такой чудак!

— Что делать, мир плохо устроен, — развел руками Эрихман, — ясно же, судьбу диссертации решает только имя руководителя.

То есть, насколько он котируется во взаимоотношениях: совместными публикациями, руководством темами, рецензированием и оппонированием при защитах. Так пояснил мне Эрихман. А Митрофанов, уехав из Прибалтики, сошел с академической орбиты. Самонисключился.

— И из-за чего — из-за семейных обстоятельств! — ухмыльнулся Эрихман, и яркие его мясистые губы вынырнули из курчавой с проседью бородки.

...И вот теперь Митрофанов — в сложнейшем положении. Он — руководитель темы, а двое его пареньков — по этой же теме! — ищут себе патрона на стороне. Не будь у отсталого Митрофанова обоймы изобретений и парочки медалей ВДНХ, его бы на первых же выборах прокатили. Так пояснил мне Эрихман.

— Уж будто? — удивилась я. — Похоже, имя его звучит в научных сферах...

— Вы удивляетесь моей уверенности? — усмехнулся Эрихман, — или вам неизвестно, как проходят выборы на ученых советах? Заслуги Митрофанова — это вчера. А

неудовольствие от него — сегодня. Время, время такое... — пожал он плечами.

— Помимо всего прочего, — хохотнул Эрихман, — надо было еще крепко поломать голову, как сделать формально невозможным руководство Митрофанова. И что вы думаете? Его ребята догадались — накатали коллективную «телегу» директору. Шустряки, представляете? Педантичность, неконтактность, ничего не забыли. Так что теперь, какое уж руководство...

...Казалось, Эрихман разрывается: «шустряков» вроде бы и не одобряет, но в общем, похоже, доволен, что «деликатный вопрос» решается как бы сам собой, без его, Эрихмана, вмешательства.

После этого разговора у меня и появилось впервые стремление к ретроспективному взгляду на события двадцатилетней и более давности...

А Митрофанов в привычной для него чуть иронической манере рассказал мне, как те два сэнэсса отправились в некий академический филиал, якобы для закупки электронного микроскопа. Ну, и попутно попытаться сделать доклады по своим работам. Все это Митрофанов услышал от Эрихмана неожиданно для себя, в присутствии названных молодых, которые были довольно-таки растеряны. Митрофанов, конечно же, поинтересовался, в какой такой институт и к кому держат они путь, на что получил невразумительные ответы, — кто знает, мол, как обернется фортуна да и с кем судьба сведет. И вообще, кабы не электронный микроскоп, никакой поездки бы не было...

Ко всему прочему Митрофанов старомодно болел за свой институт. Он верил — его, Митрофанова, имя в академическом филиале не забыто. И он, конечно, решил помочь институту заветный микроскоп добыть. Потому что из слов Эрихмана следовало, что закупка воледеленного прибора — скорее мечта, чем обговоренное дело. Да и сэнэссы о микроскопе говорили, по мнению Митрофанова, без нужного накала. И Митро-

фанов постоянно доказывал, как нужны новые приборы. Это был просто-таки «пунктик». Так говорил Эрихман. Потому что, как только Митрофанов попадал в Москву, он что-то пробивал и что-то утрясал. И, бывало, такой своей страстью, подпираемой железным аргументом (его словцо) — это я узнала много позже, притом не от его доброжелателей! — всковыривал-таки главковскую и министерскую безмятежность. И институту отпускали то, чего он получить не чаял. И тогда все делали вид, что все так и положено, и даже не могло быть иначе. А иные, те огрызались — чего это Митрофанов не в свои дела, да еще не по чину суется, и вообще «партизанит», — что, ему больше всех надо?

...Словом, Митрофанов позвонил в академический филиал по поводу микроскопа и вдруг узнал, что «толковые ребята» вовсе не за микроскопом туда отправились. А привезли они туда некое письмо за подписью директора с просьбой найти для названных ребят руководителя. Чтобы они могли написать диссертации. Тут уж Митрофанов остолбенел. Диссертации были по его теме, по которой он не единожды докладывал на Всесоюзных форумах, и даже вел совместные работы с престижными партнерами. В письме же, адресованном в филиал, сообщалось, что в отраслевом-де институте просто-таки нет квалифицированных руководителей. К тому же, как выяснилось, несмотря на подпись, директор Митрофановского института о письме имел лишь смутное представление...

Сперва Митрофанов рассказывал об этой ситуации невозмутимо. Похоже, волновало его одно: фундаментальных исследований в институте не ведут — не в чести они при узко-прикладной его направленности. А тут — редкие поисковые темы передаются на откуп в более «звучные» институты.

— Обескровливается нищенский научный потенциал! — взорвался он, — не растим же собственные кадры!

Но я поняла и другое: в данном конкретном случае «толковые ребята» тащили не просто его, Митрофанова, идею. И это вроде не особенно его и волновало. Ему, похоже, важно было другое — ни с кем не скоординировав предприимчивость, утащивали и на сторону куски общей работы Митрофановской лаборатории. А в этой работе не только «толковые ребята» видели зародыши будущих диссертаций. Возникали внутрилабораторные распри — коллектив распадался. Но Митрофанов ставил вопрос сразу же ребром и «обобщал»: можно ли вообще подпускать к науке неразборчивых в средствах научных работников?

Он ни разу не пожаловался ни на что касательно своих личных бед. Но губы у него пересохли и даже запеклись. Он был бледен, и, говоря, задыхался.

Тут было от чего лишиться дыхания. Вообще-то со стороны — механика фарса проста: «отшибный» институт жаждал ввести в небогатый актив парочку защищенных кандидатских, которые, кто его знает, может, и не проскочат в ВАКе при скромном Митрофановском руководстве. Реальную «научную стоимость» Митрофанова, похоже, институт оценить был не в силах. Ну не рвались в него ученые Митрофановского склада, что поделаешь...

Так Митрофанов вошел в мою жизнь. И вместе с ним — как бы рывок вспять. В памяти всплывают обрывки былых размышлений. Расплывчато, впервые за много лет, сплетаются контуры некоей формулировки. Пока еще еле намеченной — так, зачаток понятия. Что-то есть такое в истории Митрофанова, да и в смятениях моего корифейного от науки пациента, что завязывает в уме узелок: «синдром Горячева». И теперь важно разобраться — да что важно! — жизненно необходимо определить: в чем синдром этот, и ипостаси его каковы?

...И вполне очевидно, что однозначных ответов не предвидится.

СУДНЫЙ ДЕНЬ. — И вот я вновь, как бы мысленно, брожу по улицам старого

сибирского города. Пытаюсь представить себе тот день. Тот «судный день», когда стремительно разрывались одни связи и таинственно слетались другие, вовлекая в орбиту Горячева немногих людей, судьбы которых он во многом определял. Читая свои записки двадцатилетней давности.

«Это было ничем не примечательное утро. И все же таинственно-примечательное оттого, что, не ведая о предстоящей развязке, участники этого крохотного жизненного спектакля (ибо — что он в сопоставлении с бесконечностью мироздания, — сказал бы Н. В. Горячев!) самым будничным образом отправлялись в то утро по своим делам и привычно шагали по столь знакомой улице, ведущей к университету.

Для всех это было обычное утро, которое и начиналось с обычных дел

...Часам к девяти ректор местного университета, уважаемый профессор Дронов Иван Андреевич, многолетний друг Горячева, вышел на крыльцо своего дома и поцеловал в щеку жену, приняв из ее рук сверток с завтраком — он никогда не ел в университетской столовой. В саду увидел соседа по дому, проректора по учебной части, биолога Иннокентия Павловича Ефремова, который возился около тюльпанов, и приветственно помахал ему рукой: «Червей, Никеша, накопай!». По выходным дням они с Иннокентием Павловичем непременно отправлялись на рыбалку.

У самой калитки, на улице, Дронову повстречалась старая женщина в клетчатом байковом платке, и он, тут же «засек», что идет она к Нюре, жене Николая Васильевича Горячева, которой доводилась родней...

Ох, какое возбуждение пошло волнами по самым укромным извилинам Дроновской души, если он в ту минуту вспомнил, как однажды пил пиво в буфете у Нюры, а она нагнулась к нему, и он увидел у нее родинку глубоко в вырезе платья, и от этой родинки весь день хо-

дил сам не свой. О чем еще думал Дронов в то утро? Некий не самый светлый импульс коснулся некоей извилилки Дроновской души, подсказав, что жизнь кафедр намного упростилась с тех пор, как «наш уважаемый Н. В.» кафедрой не заведует. Ибо кончились бдения после рабочего времени с философскими спорами, разговорчиками «за жизнь» и прочими кофепитиями..

А главное — конец шпилечкам «пигалницы», Лизы Юреновой то есть. Многолетней Горячевской питомицы. «Креатуры» — бывало, и так ее называли. Получив власть, угомонилась. Стала ручной, куда и делось бывшее фрондерство? И даже контактов ищет. Сейчас ей без контактов нельзя. Здесь прижилась — притерпелась уже. А вот на симпозиум если... на форум так сказать!

...Ведь, бывало, встанет на семинаре — росту-то — от стола не видно, — глазами жгучими без блеска вопьется в лицо, голоском нарочито-детским, чтобы под рост подходил, — однако вполне по возрасту скрипучим (за тридцать, чай, перевалило) — выговаривает и шпынует. Апеллирует к Н. В. А тот — королем сидит. Не слушает. Все равно ему. Он в мелочи не вникает. Иным, драгоценным, мозг занят. А потом подытожит: «Мне кажется, замечания Елизаветы Антоновны вполне справедливы и их можно взять за основу...» и т. д. и т. п. И тогда — конец. Дальше все пойдет само по себе. Он — по-прежнему на высотах. А Лизавета потуже халатик жгутиком каким-нибудь подпояшет — у нее шик особый в старом лабораторном халате рассказывать и вместо пояса то полотенцем, то бинтом, а то и резиновым жгутом подвязываться по принципу: горю на работе, ничего, кроме дела, не знаю, — и, глядишь, добьет любой вопрос, ничем не смущаясь, преданно взирая на Горячева. Теперь с этим покончено.

С какой неприязнью подумал Дронов в то утро, что на сегодняшнем собрании от большого груза освободится. А то... зеле-

ные электроны. Что-то для Дронова было тревожное в этих зеленых жужжащих горячевских электронах, над которыми Дронов не знал, то ли потешаться, то ли предавать их анафеме... Теперь же все разъяснилось. Переработал человек. Переутомился. Ясно. В поэзию даже ударился, с Володей-хайямистом, щенком, связался. Комплекс! И все у него комплекс. И Нюра, и старуха эта, и кобели, и сказочная горячевская рассеянность.

...И главное — доклад к симпозиуму срывает. Не подписывает. Скажите, какая щепетильность. Он, Дронов, ректор, подписывает, а Горячев не желает, брезгует. Не имел-де касательства, Лизавета всем руководила, пусть сама и подписывает. Не привык-де под чужими данными подпись ставить. А без его подписи на симпозиуме, известно, какое внимание докладу уделять! Тема-то — его. Сколько лет везде о ней речь. И сразу пойдут сомнения. Горячев жив? На кафедре работает? Работает! Значит, не подписал, потому что не удостоил. Работа не та. И поди докажи! Чуть не два года убили, готовились, а тут бзык: касательства не имел, не подпишу. Так что жужжащие электроны — это ни к чему. К путевке в санаторий психоневрологический, вот к чему.

...Около аптеки, разминувшись с Дроновым, старуха в клетчатом платке поравнялась с сухонькой женщиной в длинном, довольно потертом пальто, но в щегольских ботинках, на высоченном каблук по последней моде. В те поры «креатура» — Лиза Юренева то есть, выглядела именно так, и иной мне даже сейчас невозможно было ее представить.

...Старуха пошла своей дорогой, а женщина, пеловко ступая, семенила за ней следом. Лицо женщины было спокойно. Коротко остриженные волосы жирноватыми прядями падали на безмятежно гладкий лоб. Однако глубоко под туго натянутой кожей, под выпуклым сводом белого лба сумбурно вспыхивали тревожные, колкие мыслишки:

— Старуха идет туда. Значит, Нюра опять болеет, — празднично засветилась одна...

— Если все кончится, как намечено, мы с ним уедем. Иного не вижу, — настороженно вспыхнула другая...

— Уезжать жаль, — предупредила третья, — долго, долго Нюра болеет. Работать мешает, и вообще... мешает. Ночью к нему пробирается. На том и держится...

— Ну, да это что... — успокаивает себя Лиза Юренева, — нас, нас с ним, меня и его, привыкли видеть рядом. Мое, мое имя рядом с его именем — в статьях, в отчетах, в протоколах. В сознании всех — рядом с его именем стоит. Это прочнее ЗАГСа, и ни к чему бы уезжать.

— Вот не заведует он кафедрой, и ничего не изменилось, — торжествует Юренева, — вроде никто и не заметил, вроде все так и было. Стало быть, место мое в его жизни, и в работе тоже, таково, что даже его подмена никого не удивила. Административные вопросы решаю я. А он сидит в обсерватории на привычном месте и «выдает» идеи. Можно, можно бы и не уезжать...

— Потому что не решено, что лучше. Отъезд — и на новом месте вечное пребывание в его тени, хотя полностью им владея, или... пусть все как есть, так и остается. Я — заведую кафедрой, и опять-таки он — мой, но в моей тени. Конечно, если бы не Нюра...

— Но вот, поди ж ты, есть Нюра! И куда ее не денешь. И есть она, и о себе заявляет, и личность свою утверждает. Впрочем — не будь зарплаты, квартиры, безмятежной жизни, будет ли себя утверждать? А надо бы, чтобы не было ничего. Ни зарплаты, ни квартиры, ни безмятежной жизни. И не будет. Дронов — как овчарка. Ухватив, удавит. А Володя-хайямист — хоть шавка, но злоющая.

— Притом в ожидании награды. Так что — позвать бы его в концерт завтра. Если заслужит...

Женщина свернула за угол, и дороги ее со старухой разошлись.

...Под самой стеной, обеими руками сжимаемая набитый портфель, не шел — бежал молодой человек. Впрочем, не очень и молодой. Скорее, «из молодых». Володя Великанов. В те поры — мой супруг. Свитеры, водолазки, кепочки, береты, спортивные куртки, на диво массивные очки уравнивали мужчин всех возрастов. В сорок мужчины резвились как в двадцать, в двадцать — были расчетливы как в шестьдесят. Береты, кепочки, куртки — слава им! Как он любил их, мой удачливый Володя, за то, что помогали ему запоздало петушиться, продолжая слыть лидером молодежи, давно потеряв молодежную прыть...

...Молодой человек спешил и чуть не сбил с ног старуху в клетчатом платке.

— Ба, Манефа! — сказал он. — Ты куда это в такую рань? За цветочками?

Старуха силюнула и пошла своей дорогой, а молодой человек свернул за угол и налетел на женщину в коричневом пальто.

— Ба, Лиза! — восторженно воскликнул он. — Ты на кафедру? Ну держись! Сегодня я твоего героя поощаю. А вечером все обсудим, ладно? Насчет отъезда. Я лично сегодня же дома объявлю!

...В тот день он, наверное, и объявил бы мне «официально» о своих отношениях с Лизой, о которых я и так давно знала.

— Заявление подашь завтра, — поучал он пока что тогдашнюю Лизу, — протест, мол: не желаю с таким человеком работать. Поняла? Это тебе в дальнейшем пригодится. Тут надо с треском уйти, поняла? Ну, будь! На собрании не переживай. Все идет по плану. Сама знаешь — тронутый он. Докторскую с ним не добьешь, не надейся. Или ты колеблешься?

И умчался...

...Женщина не с добром посмотрела ему вслед жгучими без блеска глазами.

— Как же, заявление, завтра же! Отъезд к тому же! Только не с тобой! — заворопилось, забеспокоилось под мучнисто-белым лбом. — Докторскую я как раз сейчас и сделаю. Допустим, сегодня разгрызается все, как намечено. Тогда кафедра перейдет ко мне. А он... знаю, некоторые так прямо и говорят — ах, гений, мол... Только я ведь сама же эту убежденность поддерживала. Так что его превосходство, может, — гипноз? Привычка находить, что хотелось увидеть? Но даже, если гений — то стареющий. И, гобами служа ему, я по песчинке воздвигала фундамент для своей кафедры. Да и что кафедра... Место среди «касты» — вот что перейдет ко мне сегодня, если все пойдет, как намечено. Если не потребуются его подписи. Если не уезжать. Если остаться, не теряя его самого. Ох, Нюра, Нюра...

— Сидел бы он дома, писал. Консультантом в обсерваторию наведывался. Для престижа. Моего престижа! — заоткровенничала вовсю обнаглевшая мыслишка. — Ну, и своего, конечно, — стыдливо добавила другая, — и мой был бы! Мой! Знания его — мои, время его — мое! Работа его — для меня! Ох, Нюра, Нюра...

И тогда уж под гладким лбом пошло несусветное...

* * *

А что же Горячев? В 9 часов утра профессор Н. В. Горячев встал, принял ванну и не спеша натерся докрасна жестким полотенцем. Смазал все тело оливковым маслом — тогда его еще продавали, — терпеливо втирая в кожу. Он верил в мед и в оливковое масло, как в панацею от всех болезней, в особенности же от старости, а старости, похоже, боялся. Впрочем — как все!..

Со вкусом позавтракав, потрепал лобастую голову старого дога и принялся методично собирать со стола бумаги, очки, портсигар и складывать все в портфель.

— Ну, я пойду, — сказал он, стоя у самой двери и не оборачиваясь. — Сегодня собрание, вернусь поздно. Врача вызвать тебе? Не надо? А зря. Опять ночь не спали, голова несвежая, в ушах звон. Лечиться надо — не травкой приступ снимать. От недосыпания работаю с несвежей головой. За Манефой зачем послала? Какой еще пирог, раз нездорова. Ни к чему это. Ну разве что посидит с тобой. Так я пошел.

Проходя по большому университетскому саду, Н. В. встретил сторожа Митрича, за руку с ним поздоровался и посетовал, что жена все болеет.

— Ну, Нюра, положим, у тебя двужильная, — усмехнулся Митрич. — Не скоро тебе вдовым быть, не бойсь. Она еще нас с тобой схоронит. У нее прав такой!

И тут навстречу Горячеву как раз попалась снедаемая расчетами Лиза.

— Вы чего это в наших краях? — поинтересовался Горячев. — За мной? А почему, собственно? Я и так помню, что собрание. Вид усталый? А это все то же... ночь не спали опять. Какое, говорите, лекарство? И что? Помогает? Ладно, спасибо, что достали. Тогда сами ей отнесите, чтоб уж мне не возвращаться. Только, если она нервничать станет, не обижайтесь, не обращайтесь внимания. Значит, на собрании встретимся. Зачем я все это затеял? Что — это? Но, послушайте, что с того, что я не литератор и никакой не специалист! Между прочим, литература во все времена создавалась для читателей, а не для литературоведов. Да вы же не о литературных моих турнирах и печетесь сейчас, — я угадал? Ну, мне пора. Вы хотели занести лекарство? Зачем вам меня провожать? Вам как раз ведь в обратную сторону.

Свернув за угол, Н. В. встретил старуху в клетчатом платке.

— Ты к нам? — спросил он. — Посиди с ней. Ночью опять худо было.

— Посижу, чего там! — ответила старуха. — Только ей не от сердца худо, ей от тебя худо. Я истинно тебе говорю —

от тебя! Она тебе уважение делает, а ты... Науки много, ума мало!

— Опять хлебнула? — усмехнулся Горячев. — Ну, ступай, ступай! Травки бы ей дала своей. Все же легче ей от травки.

— Еще бы не легче, — проворчала старуха. — Это тебе не таблетки глотать пригоршню! А травка, вот она! Я ей как раз несу. Она и так уже наказывала.

— Ну-ну! — неопределенно ответил Горячев уже на ходу и пошел по проспекту.

* * *

...Представляю, как старуха в клетчатом платке с удобством расположилась на кухне. Объявила, что сейчас в саду самовар поставит — у нее с собой баранки свежие.

— А пузырек-то — вот он. Я туда макового отвару подбавила. Для сна. А то ты, Нюрка, вовсе на себя не похожа стала. И с лица спала, и вообще... смурная какая-то с мужиком этим твоим, будь он неладен и со всеми званиями! Ну что ты под ноги ему стелешься? Вот же не стану я пирог печь сегодня. И так поужинает. Не все — пироги. Слышь, Нюр? Я говорю, не стану я пирог заводить. Ну, чего ревешь? Нюрка? Ты чего?

— А ничего. Только у меня эта его была. Лекарство заносила. Я выбросила. Заботится, видишь! Говорит, мешает ему моя болезнь. Расселась тут и учит: «Вы, если добрая, понимать должны, какое у него сейчас положение. Шаткое, мол, его положение. На работе на волоске висит. А вы ногами спать мешаете». Вот, баб Маня, что она мне говорила! «Вы бы, говорит, освободили его. Всем бы легче стало». А кому — всем? Ясной — ей и ему, кому еще? «Вы, говорит, ровню себе искать должны. Он, говорит, вас стыдится. Авторитета, говорит, из-за вас лишился. А как я его освобожу? Я его, баб Маня, люблю. И сейчас все равно люблю. Не могу я, пока живая, его освободить. Ну что мне, баб Маня, делать? Повесить —

ся, что ли, чтобы ему меня не стыдно было?

И поплакали вместе Нюра со старухой, а потом старуха и правда поставила самовар, и пили они чай чинно и мирно, вспоминая много разных событий и разных людей, о которых напрочь никогда не ведал Н. В. Горячев.

Пузырек же с настоянной травкой тут же стоял наготове, на случай, если у Нюры сделается приступ.

На прощанье Манефа обняла Нюру и веско ей наказала:

— Ой, не шути, девка! Слова не те говоришь, и мысли у тебя не те. Ты побеседуй с ним по добру, расскажи, как она приходила сегодня, что говорила. Человек он все же, понять должен! Живете столько лет, а все как чужие. Страшненький он у тебя, ровно души у него нет, а так, пар один...

— Ты, бабка, про него не смей такие слова говорить! Запрещаю я это, слышишь! Его, может, вся страна знает. Про него, вон, в журналах печатают. Меня через него за человека считают. А то, помнишь, небось: «Нюшка-пампушка»? Для меня его слова надежнее нет! А про Лизу, может, и врут все. Меня Николаша любит, уж я точно знаю! Жалеет он меня, он добрый!

— Ну, совсем рехнулась! — взвилась старуха. — Я пошла, когда так! Не понимаю я тебя, Нюра! Какая девка была — орлица! А теперь ссохлась вся. У самого кровь рыба, либо и вовсе нет ее, и из тебя всю выпустил! Пошла я! Как хотите тут разбирайтесь. Много из пузырька не пей. Я туда кое-чего еще подбавила, и маку тоже...

... Так я представила себе то последнее утро, в котором уже таились заначки новых стезей связанных с Горячевым людей, и тленом отдавало еще вчерашнее, совсем близкое, размеренное житье — только никто пока о том не подозревал-не задумывался.

А в документах — сгустки былых потрясений. Нет, лицо мира, лицо города и

даже лицо университета, от тех сдвигов, что спрессованы как бы в отдельных сколках бумаг, сшитых скрепками «по категориям», не пострадали. Впрочем — как посмотреть...

Листаю по «хронологии»:

Из протокола общего собрания
физико-математического
факультета

Н. В. Горячев (с большими сокращениями).

«...Я считаю, что представление Омара Хайяма о бессмертии подтверждает мою мысль. У него человеческая личность рассеивается в мироздании, и как оно — бессмертна. Человек стал кувшином. Это ли не конкретность? Но какая! Каждая молекула глины хранит память о человеческой личности. Оценивая пьющего из кувшина. Так называемый загробный мир человеку необходим. Но не в раю — а по Хайяму. Чтобы сумма человеческих знаний, опыта, выводов — пусть невидимой массой, рассеянной в мироздании, но сохранялась. И суть в том, что идея пресловутой загробной жизни не вредна, а полезна, если она — доказательство такой концепции... Что? Вам не хотелось бы бессмертия? А вам? А вам?»

В. К. Великанов: «Товарищи! Что же это получается? Видный ученый, гордость нашего университета, математик, астроном — человек, близкий к недоступным нам величинам мироздания, к абсолютам, я бы сказал, — и вдруг такое дилетантское, такое непозволительное, антинаучное опровержение авторитетов литературоведения. Такая, я бы сказал, отсебятина! Уважаемый всеми Николай Васильевич считает, что Хайям — явление вневременное и что его четверостишия актуальны и сегодня. Но вот, например, понимание счастья у Хайяма. «Оно глубоко субъективно, а для нас личное счастье прежде всего в уничтожении социальной несправедливости, и оно невозможно вне счастливой жизни, завоеванной для

народа». Товарищи, это цитата из авторитетного источника. Впрочем, я зачитаю и из последней монографии: «Хайям мечтает создать «земной рай» и рекомендует всем и каждому не расставаться с чаркой. Вместо духовной сивухи, какой является всякая религия, Хайям прославляет, так сказать, сивуху вполне реальную». А Н. В. Горячев утверждает, что Хайям вообще не брал в рот хмельного. Смешно! Мы не можем также не удивляться тому, что Н. В. Горячев находит у Омара Хайяма материалистическое мировоззрение, опираясь на поэтические преувеличения, вроде того, что песчинки были зрачками любимых. Н. В. Горячев утверждает, что Хайям счастлив оттого, что человек после смерти остается в круговороте жизни, хотя бы в виде кувшина, из которого пьют вино, тогда как все мы знаем, что для Хайяма тема глины и гончарных изделий символизирует понятие праха и тлена. Товарищи — это я опять цитирую из монографии! И самое странное, что этот пресловутый круговорот профессор Горячев называет подтверждением своей концепции. Однако это область уважаемого профессора Дронова. Я же все сказал, и думаю, не пора ли, товарищи, принять ряд мер, направленных на то, чтобы помочь выдающемуся специалисту исправить некоторые искривления, допущенные им в общественной и даже личной жизни, и пойти в ногу с шеренгами нашего прославленного вуза...»

...Да, я не ошибаюсь, все так и записано: в мою студенческую бытность именно в такой тональности звучали многие выступления на многих собраниях той поры.

И. А. Дронов (с большими сокращениями): «Идей у вас действительно хоть отбавляй, но идеи — все горазды выдумывать. А чем свою точку зрения можете доказать? Утверждаете, что теория — догма, расчет — спобизм, мертвая зыбь. Для вас теория, не возвращенная к эксперименту, смысла не имеет, и вы называете ее упражнением из любви к искус-

ству! Так вот, чушь, я говорю! Сапожник — практик. Повар — практик. А мы — ученые. И если мы обладаем возможностью мыслить абстрактно, то с нас довольно и этого. Работа в университете вам противопоказана, вот что! Впрочем, вы никогда не болели за честь университета. Вы — одиночка! Что вам — общественное мнение?»

Н. В. Горячев (с большими сокращениями): «Хорошо, про зеленые электроны говорить не стану. Они, видимо, больше всего вас обеспокоили. Не стану упоминать про энциклопедистов и про большой их вклад в развитие науки. «Меа кульпа, меа максима кульпа!» Обилие идей всегда было злом, с этим тоже согласен, ибо испытываю это на самом себе. Я попытаюсь в новом свете прочесть стихи Омара Хайяма и, конечно же, читая их, буду помнить четкие формулировки поправивших меня товарищей. Не согласен с тем, что атмосфера университета для меня вредна, поскольку пребываю в нем вот уже четверть века, однако вполне согласен на некоторое время удалиться от дел для лечения. Тем более, что сейчас на мне уже не лежит нагрузка заведующего кафедрой, которую любезно взяла на себя Елизавета Антоновна Юренева, известная своим бескорыстным трудолюбием и настойчивостью в достижении любой цели! Однако прошу заметить, что под докладом, поданным ею от моего имени, я, в отличие от Ивана Андреевича Дронова, все же не подпишусь!»

...Мог ли представить Н. В. Горячев, когда в протокол собрания торопливо вносились его удивительно покладистые и вместе с тем строптивые речи, прямо-таки всколыхнувшие малый актовый зал, мог ли он представить, что так невольне судим будет все той же общественностью, но еще более смятенной от вести, что успела однажды с утра пораньше облететь весь город: ночью при загадочных обстоятельствах внезапно скончалась Нюра, жена Н. В. Горячева.

Из высказываний коллег Н. В. Горячева на следующий день после названного происшествия.

«Чертов алкаш, если надоела, ну дал бы ей пинка под зад и все тут. А то человек помирает, а он неотложку не позвал. Тоже мне Арбенин. Допился до электронов зеленых. Каков? А туда же, философию математики пересматривать. Бессмертие и все прочее. Свою фамилию рядом с моей не поставил. Не удостоил. Свихнулся, все и разговоры, я же давно говорил: лечиться надо. Я ему — соболезнование, а он мне: «Такова, брат, высшая закономерность». Вот ведь!»

...Это — старик Дронов. Профессор Иван Андреевич Дронов, математик, давнишний друг Горячева. Мужчина, в частности, странный тем, что много лет жил в одном доме и очень дружил с первым мужем своей супруги, с биологом Иннокентием Павловичем Ефремовым.

«Подумаешь, скорую помощь не позвал! Я бы на его месте камаринскую наяривала. И никакой он не псих. Раз скорую не позвал, значит, сразу смекнул: отмутился. Вообще — будешь психом с такой-то!»

...У технички Вари, которая перед праздниками ходила в профессорские квартиры на большие уборки, по договоренности с профессорскими женами, благодаря чему знала своих клиентов в «комнатных туфлях», мнение четкое.

«Стерва она, Нюшка, была — это даже необязательно какая! Я-то ее знал, когда ее еще «пампушкой» звали. Глазки у нее, и... все прочее, плечики там, и пониже тоже, все в аккурате. Только стерва, говорю, — второй не сыщешь. Я ее богом прошу: «Нюрка, будь человеком. Дай хлеба вперед! Я тебе потом карточки за неделю отдам. Детишки ведь!» Ну, с ней, что с дверью беседовать! «Много вас, говорит, которые с детишками, а я одна, мне сидеть не охота». Он от нее запил. Уж я знаю. Душа у него — вот что! Душа — она себе простора просит. А е

этой — какой простор. Он и свихнулся. Свихнулся — уж это точно! Да ежели бы он нормальный был, он что, помощь бы ей не оказал? Он же добрейшего сердца человек! Он, ежели хотите знать, ежемессично мне четвертную к пенсии добавлял, из своих. Вроде бы за то, что я собак по утрам гуляю, когда ему к первой паре идти. Нет, если бы он нормальный был, он ни за что бы из дому не ушел!»

...Сторож Митрич в то время личность широко известная, своего рода достопримечательность университета. К Н. В. Горячеву был искренне расположен, по вечерам часто курил с ним «козью ножку».

«Николай Васильевич не мог совершить преступления. Винить его в смерти этой особы нелепо. Я работала с ним много лет бок о бок и знаю его лучше, чем кто бы то ни был. Его оскорбляло само присутствие этой особы в его доме. Сработала сумма раздражителей. Отсюда и странности. И вообще в последнее время он держал себя необычно. Вот затеял с хайямистами спор. Мои распоряжения по кафедре не выполнял. И даже язвил, чего раньше никогда не было. И, наконец, отказался поставить свою подпись под докладом кафедры, подготовленным для симпозиума. По моему, вчерашнее собрание усугубило его состояние. Он болезненно самолюбив. Его так называемое покаяние — помните, тогда на собрании? — как самоубийство. Будучи нормальным, он никогда бы на это не пошел. Я думаю, ему давно следовало основательно подлечиться, как не раз советовал Иван Андреевич за последнюю пару лет. Иван Андреевич самый близкий его друг и всегда желал ему добра. Я думаю, мы с Иваном Андреевичем должны помочь нашему Н. В. У нас отличная ведь неврологическая клиника, и я могла бы переговорить с главврачом, чтобы Н. В. дали отдельную палату. И пусть обследование покажет, что наш Н. В. ни в чем не виноват. Что будет с кафедрой? Помилуйте! В последнее время он все равно не мог, да и не хотел мне оказывать помощь, хотя

знал, как мне нелегко на новом поприще. Впрочем — это я так! Думаю, что с кафедрой справлюсь и впредь, как справлялась все эти годы, даже до назначения на заведование. Ну, — улыбаться нечего. Ведь не секрет, что и до моего назначения Н. В. часто бывал, как бы это сказать, не в себе, так что все равно все дела мне приходилось брать на себя... Что касается симпозиума, в случае болезни Николая Васильевича, мы можем вполне оправданно послать наш доклад без его подписи. Подпись Ивана Андреевича, как первого автора, и моя подпись, мне кажется, вполне авторитетны...»

...Знакомые периоды Елизаветы Антоновны Юреновой. За глаза именуемой не только «Креатура», но и «Бедная Лиза». С некоторых пор — кандидат математических наук и старший научный сотрудник.

«Не сочтите за истерные истины то, что я говорю, но согласитесь, за все годы он ни разу не присутствовал ни на одном семейном вечере в нашем вузе. Никто из нас лично не был знаком с его женой. Впрочем, как стало известно, она была даже не жена... Вряд ли он мог сожалеть о ее смерти, и почему не мог желать этого? Я лично думаю — он вполне нормальный и совершил преступление. Так что никакой клиники не требуется. Притом — совершенно же аполитичный человек! Сколько с ним мороки было всякий раз при подписке. Я объяснял: все подписываются. А он — мол, читать некогда, вообще мало читает. Однако судить о литературе берется. Да еще как!»

...Тогда он еще был аспирант Володя. А точнее — Владимир Константинович Великанов, профорг университета, историк, заядлый «хайямист». Человек молодой, многообещающий, и не только готовый выполнить все, что обещал, но впоследствии многое и намного перевыполнивший.

«Ты только не вздумай где-нибудь проларчик проболтаться! Поняла? Влипнешь за милую душу. И даже я тебя не смогу вытянуть. Поняла? Еще ладно, весь го-

род знает, что он тронутый. Его счастье, что с «хайямистами» связался, да и с Дроновым тоже. Ясно же — ненормальный. Зачем математику — Хайям? Это должны учесть. Хотя я, лично, стою на версии преступления. Сальери-отравитель, понимаешь ли, нашелся! Я так и сказал на собрании. На случай, если попадет к тебе, — чтобы ни малейших подозрений в сочувствии. Какая разница — твоим, моим. В семейном сочувствии, словом».

...Это он же, Володя, в разговоре со мной, только что начавшей практиковать врачом.

Эти записи я сделала в ту пору со слов, во время обследования Н. В. Горячева в моем отделении. Краткие характеристики тоже сформулированы были тогда, отчасти по рассказам Володи, отчасти по моим наблюдениям.

А вот еще сколка. Выписка из «дела Горячева», которое поначалу вел мой хороший знакомый — молодой следователь.

Из показания подозреваемого Н. В. Горячева, бывшего заведующего кафедрой, профессора.

«Я ведь говорил, не знаю, как все получилось. Но если нужно, я расскажу еще раз. Мы сидели на террасе. Там у нас свет не проведен. А керосиновая лампа коптила. На стол поставили подсвечник. Кто принес подсвечник? Нюра принесла. Я только вернулся с собрания и очень устал. Нет, никакой ссоры не было. Что ели? Право, не помню. Какой-то был, кажется, пирог. Да, Нюра вообще сама стряпала. Да, очень вкусно. Она была отличная хозяйка. О чем говорил? Собственно, ни о чем. Я вообще не очень разговорчив. Она о чем говорила? Кажется, о цветах. Да, наверное, о цветах, потому что как раз была пора, когда она на рынок цветы отвозила. Нет, сама не ходила. Ну, что говорила, я не очень помню, наверное, пустяки какие-нибудь. Почему считаю, что пустяки? Вероятно, оттого, что она вообще говорила малозначительные вещи.

Впрочем, кажется, вспомнил. Она что-то толковала про срезанные цветы, что они не любят света и от этого вянут. Что будет в вазе лучше держать под столом. А если гости — тогда на стол ставить. Да, помнится, именно это она и говорила. Знал ли я о торговле цветами? Сперва не знал. Не интересовался. Потом, наверное, знал. Почему не запретил? Но, право, некогда мне было о том думать! Послушайте, я ведь уже сказал, что не знаю, как все получилось! Ну, извольте! Просто мне показалось, что у нее лицо огромное. А было — вплотную к моему, и я ее оттолкнул. Она меня ударила. Очень больно. Она была полнокровная и сильная особа. Нет, мы никогда не дрались. Это совсем не то слово. Да, она ударила меня не впервые. Это было и раньше, только я никогда ее не бил. Ну что вы! Не мог же я бить женщину! Как я терпел? Ну знаете, объяснения, сдены это же все — время. Как мы жили? Как все. Впрочем, не знаю. Я ее мало видел. Всегда очень занят. Приходил и ложился спать. Нет, в тот вечер был абсолютно трезв. Отчего оттолкнул? Но я ведь сказал: не знаю, как все получилось. И что оттолкнул и все что потом было. Она упрекала меня. Нет, про Лизу — это все неправда. Обычное сотрудничество и только. Жена предъявила требование, которое я не мог выполнить. Дав честное слово, я был обязан его сдержать. Сделать же этого я бы не смог. Из-за сложившихся обстоятельств, и оттого, что требование считал необоснованным. Да я и не верил, что она поступит так. Почему? Ну кто же в наши дни принимает яд из ревности! Почему, позвав Митрича, ушел? Считал, что мое присутствие уже ничего не может изменить. Нет, я решительно отвергаю обвинение! Она была экзальтированной особой. Но я не мог знать, что она совершит такой необычный шаг...

Из показаний Манефы, женщины без определенных занятий, обвиняемой в знахарстве.

«Никакой я такой травки не знаю, чтобы от нее люди помирали. И не знаю, какое-такое зелье Нюра хлебнула! Ну и что, что травками промышляю? Один, когда хвораю, травками лечится, другой — бегом в аптеку бежит и порошки глотает. Так это вольному воля! Я разные настои знаю. От желудка, от простуды. Так это все знают. А люди болтают от зла. Оттого что у меня всякое дело спорится. Чем торгую? А чем дадут. Я старая. У меня пенсии 15 рублей. Жить-то мне надо? Нюрка какая была? Обыкновенная, какая еще. Только что на своем мужике свихнулась. Он — какой? А вроде блаженного. Блаженный-то блаженный, а с одной спутался! Нюрка его поила-кормила, угождала — ровно любовной хворью болела. Чего смеешься? Есть такая хворь, и даже многие болеют. Которые с этой хворью рождаются — у таких талант на любовь. А ежели нет такому хворому ответа в любви — усохнет. Она, Нюра, и сохла. А так ничего — самостоятельная была женщина, царствие ей небесное. Я на нее не обижаясь. Уж чего в нашем городе теперь не будет, так это георгинов ее. «Данькино сердце» называются. Она всякие цветы любила, и рука у нее была легкая. Все у нее, бывало, растет да цветет. Эти самые «Данькины сердца», как на базар понесешь — нарасхват. Ну и что, что напутала? Никакого такого «сердца» я не читала. Ни Горького, ни Сладкого. Я грамоте необучена. Ну и ты меня не учи! Мне девятый десяток пошел, а у тебя, вон, сопли вожжой тянут, хоть ты и следователь. Подумаешь, власть себе взял! Что я, отравительница какая, что ты на меня орешь? Тоже мне околоточный сыскался...»

Из разговора двух нянечек психоневрологического диспансера, мною услышанного и записанного «по горячему»

«Нынче у нас новенький. У Иринишки в отделении. Профессор, вроде. Ну, ко-

торый с бородой. При университете жил. Нынче больше интеллигенты болеют.

— Интеллигент! Жена при нем отошла, а он неотложку не позвал. Говорят, отравил ее, вот ведь что! А теперь придуривается. Ему теперь одна дорога — придуриваться. Ему очень просто могут выпшку присудить.

— Он выпивши был. Мне ихний сторож сказывал, свояк мой. Выпивший — он чего не сделает. Выпившему — ясно скидка. Правда, ежели двадцать пять дадут, так это для него все одно. Не молоденький... За полста, чай, перевалило. Дела!»

...Вот такие в моем заветном ларце хранятся записи. А также — о встречах с Горячевым, уже последственным. Тоненькая тетрадь в черном коленкоровом переплете, к которой — не прикасаюсь, а словно бы припадаю сейчас, как накупь прошедших лет, отшелушивая, листаю.

МОЛЕЛЬНЫЙ КОВРИК. Ради первой встречи он рассказал мне историю о том, как Омар Хайям украл в мечети молельный коврик и как подарил своей возлюбленной, могущественной правительнице Туркан-Хатун серги, принадлежавшие городской девке...

Рассказал так живо, что на минуту в кабинете воцарились сиреневые сумерки, тонко и стойко запахло цветущим миндалем и послышалось пение водяных лягушек. Я увидела городскую девку Зульфию, добрую и простую, как хлеб, увидела серги со сканью и бирюзой, увидела Хайяма, высокого, чуть сутулого, в лиловом парадном чапане...

Пока он рассказывал, я все время слышала гортанный смех чарующей Туркан.

«...Хайям ничего не сказал ей о молельном коврике, потому что ничего не собирался ей доказывать, а с самим собой вел спор непрерывный и тяжкий, и на этот раз в споре победил сам себя, и себе доказал свое право на неверие, и с наслаждением выспался на украденном коврике...» — рассказывал больной, и го-

лос его снова ткал бывшее волшебство, так что мне нелегко было перевести разговор на необходимый для обследования доверительно-обыденный тон.

Я ничего не сказала о его деле, а только спросила, зачем он вязался в полемику с признанными хайяристами; он — ученый, астроном, ничего общего с «гуманитариями» не имеющий.

Еще я спросила, откуда он знает, что все было именно так, как он рассказывал. А он улыбнулся и ответил:

— Послушайте, я сейчас вам почитаю наизусть. Только я плохой чтец. Но вы все равно услышите...

И прочел:

Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой.
Не в жажде чуда я и не с мольбой.
Когда-то коврик я стянул отсюда...
А он истерся... Надо бы другой.

— Ну и что же? — сказала я, бесстыдно кривя душой.

— Вы не поняли? Вы? — Он был изумлен.

...Все время впечатление, что он меня разыгрывает. С понятной целью. Как говорит Володя, рассчитывает на то, что я его давно знаю.

...И сейчас помню: Горячев всегда самую чуточку позировал. Когда я была студенткой, двое мальчишек, которые одновременно за мной ухаживали, притянули мне ворох белой сирени. Такая росла только в университетском саду, и ясно было, что добыли они ее путем неправомерным. И они, наглецы, даже не отрицали, что наломали сирень прошлой ночью, а наоборот, обстоятельно рассказывали, как сторож Митрич чуть не накрыл их, но тут на счастье появился Н. В. Горячев с двумя собаками на поводке и «стоит, понимаешь, в одной руке поводки — псыны гладкие, мордастые, вокруг него так и вьются, — а другой рукой к себе Митрича манит. И сразу видно, что Митрич ему ни к чему, а просто он положение оценил: друг, Митрич, говорит, — поддержи ты их, я домой схо-

жу, забыл махорку. Или у тебя есть? Займи, будь друг! — И Мигрич с ним давай козьи ножки крутить, а мы дали деру. Мощный старик, наш Не Ве! Хоть с придурью, но мировой дед!» — сообщили мальчишки.

...Ему было за сорок. А нам — даже не двадцать. Он носил бороду и усы. И шляпу. Это было сразу после войны. Никто бород не носил, а шляпы — мало кто. Он поражал наше воображение ежедневно и ежечасно. Он ушел с работы в женском плюшевом жакете, но долго не хотел брать его при выходе, возмущался и утверждал, что вечно его надувают. Он два часа простоял на морозе в очереди за водой — в городе еще не наладили водопровод — прочел от первой до последней страницы номер «Советской культуры» и ушел, оставив ведро у колонки. Он жил с какой-то буфетчицей в большой профессорской квартире при университете, и все знали, что буфетчица держит его в черном теле и разводит цветы для торговли, а он часто ходит в некий подвальныйчик, который с его легкой памяти так и зовется «Горячевкой».

...Его имя уже тогда мелькало на страницах наших и зарубежных журналов. В городе о нем говорили с уважением, что он большой ученый. Говорили, но сожалели, что «горький пьяница и обязательно плохо кончит». Тогда многие считали — в «Горячевке» что и делать, кроме как пить горькую.

Но — назад, к тем давешним записям.

...Перечитываю все, что написано со слов Горячева, и думаю, это уже давно не обычный «дневник больного», который я веду на каждого своего подопечного с первого дня знакомства. Это и не «чуть олитературенная история болезни», которую горячо советовал мне вести мой отец, любимый и уважаемый мой учитель, профессор Полежаев.

Какое мне дело сейчас до Н. В. Горячева, который, говорят, спился до того, что довел жену до самоубийства. Если не хуже. Мне проще так — чтобы именно

спился. Мне надо сказать: Горячев болен. Или Горячев здоров. И все. А я пишу не о больном Горячеве, а цитирую стихи Хайяма.

Сегодня думаю: когда я ушла домой в тот поздний час, а в лечебнице воцарилась вечерняя плотная тишина, когда кажется, будто по коридорам деловито сплывают кошмары и галлюцинации, направляясь каждый и каждая к своему хозяину, Горячев, наверное, себя корил: зачем поверг постигнутое к стопам женщины?

...Впрочем, он мог бы сам себе возразить: «К стопам женщины!» Какая она для меня женщина? Я ее когда здесь увидел — обомлел. Надо же было именно к ней попасть! Я ее девчушкой знал. Ходила такая... валенки на ней, из них ноги торчат, тоненькие — палочками. Когда собак моих встречала, шла прямо на них — ничего не боялась. Однажды говорит: «Дядя, можно я им репы дам? Мама сказала, репа питательная». Война была, репу тогда многие ели! Девчушка и протягивает Джойке кусочек, а тот вежливо уши убрал — брезгует. Тогда девчушка и говорит: «Вы ему, наверное, даже хлеб даете, да!» И так мне стыдно стало, что Нюша хлеб буханками домой тащит, а эта — эвакуированная, может, хлеба водосталь не видит, на репе растет. Потом стыд прошел. Дотраивали левое крыло обсерватории и оборудование пополняли. В те годы — эпическое событие! Так что про хлеб я вскоре забыл. А девчушка незаметно для меня выросла. Я потом ее в университете видел. Она на вечерах стихов читала. Хорошо читала. И еще однажды в обсерваторию студентов водили. Для «мероприятия». Только она на звезды смотреть не стала, а подошла ко мне и спрашивает: «Николай Васильевич, а ваша собака, которая репу не ест, еще жива?» Думаю, она это нарочно сделала: сконфужу, мол, его и всех насмешу. И действительно — смею было!..

Так мог бы вполне оправданно побеседовать сам с собой Горячев в тот вечер. А вот задал ли он себе такой вопрос:

— Итак, ты любил ее? (меня — то есть). Или, напротив, сам себе отвечая, забеспокоился:

— Ну знаешь! Кого я любил? Эту светленькую девчущку с репой? Вот уж ни к чему сейчас, когда все кончено!

— Неправда. Ничего не кончено! Сегодня, когда ты был у нее, то вполне отчетливо задавался именно этим вопросом! — И так тоже мог бы ответить себе Горячев в тот вечер. Сейчас, по прошествии стольких лет, я знаю: он и так мог себе ответить в тот поздний час...

Тогда же я писала.

* * *

...О, волшебство этого голоса. О, колдовская сеть слов... Вот как хотелось бы мне начать описание сегодняшней беседы с большим Горячевым.

Историю поздней любви, могучей, как спокойная река у последних своих порогов, рассказал он мне сегодня. О великой силе торжествующего разума, о влечении просветленных духом друг к другу говорил он сегодня. И снова читал стихи, и когда еле слышно шептал:

Я стар! Любовь к тебе — дурман.
С утра вином из фиников я пьян.
Где роза дней? Ощипана жестоко.
Ушиблен я любовью, жизнью — пьян!

Другие, другие слова слышались мне за его стихами...

Когда он читал стихи, мне бы применить к нему «силовой прием». «Натопать», как говорит Володя. Сказать: зачем вы меня дурачите? Оттого, что я тогда всю ночь у вас просидела, а потом ушла в чаду от стихов и от волшебных ваших слов? Оттого, что я за вами по пятам бегала, до того, что меня в «Горячевке» узнавать стали? А вы? Очень, очень достойно — замутить, завертеть, а потом, как ни в чем не бывало: «Дитя, вы — светлая. Простите! Я хлеб ел краденый! Жизнь моя — пересадка. Дорога в небытие... Мошка в хоре светил...» Сколько слов, боже мой! Тогда

ночью вы меня даже не поцеловали. Я бы жизнь отдала, чтобы вы меня поцеловали...

Да что это в самом деле? Значит так: больной Горячев обвиняется в преднамеренном убийстве. Доминанта — огромность вселенной, ничтожность человека. Отсюда — оправданность любого действия, в смысле: что оно — по сравнению с бесконечностью?

Выяснить: откуда это пошло и почему — Хайям?

...И почему, почему он отрекся от моей любви. Ах, ну какой я сейчас врач? И никакого нет больного, — есть горький, одинокий, обреченный, ничей человек. Неправда, — мой человек!

Нет — не мой. Нюшкин. Он — Нюшкин. Даже сейчас. Потому что судьба его и сейчас — все равно от нее.

Сегодня корю себя: как грубо, как слабо, как грубо писала я про покойницу — «Нюшка». Только так называла я эту уже ничему и никому не мешавшую женщину. Тогда же:

«...И пошел на стадион с дружком своим, с Дроновым, — второй чокнутый по университету, — и на грех у Горячева пуговица у брюк отлетела. Конфуз! Дронов же ему: «Пойдем, тут буфетчица одна, подружка-пампушечка! У нее, наверное, иголки-нитки при себе. И пошли. Она старикану пуговицу и пришила. И с концом. Так и остался у нее на приколе, на иголочке на той».

Это если Володю послушать. Господи, о чем я опять! Но все равно, пусть! И так это давно уже не «дневник про больного». Мой это дневник! Просто умиленно — стелания отверженной любви! Отрывка от десяти лет образцовой семейной жизни с «талантливым молодым ученым», «инициативным, всеми любимым педагогом по призванию», «прирожденным общественником». С Володей то есть.

Листаю вот свою тетрадь и думаю: а ведь он мне все десять лет горячевского ларчика не простил. И Горячеву не простил, сама не пойму, чего. То ли историю

с Лизой, то ли что Горячев меня любил, то ли что пренебрег и не любил.

По-моему, если бы у меня с Горячевым была связь, честь по чести, Володя бы пережил это и забыл. Потому что — тогда все понятно, «как у людей». А тут — история с многоточием. Впрочем, тогда он это многоточие, наверное, благословил.

Как мало понимаем мы, однако, жизненные многоточия, которые едва ли кого стороной обходят.

...Почему-то именно сейчас впервые отчетливо вспомнила: записки-то ластаю в связи с «делом Митрофанова». Так вот, из разговора с Эрихманом, например, узнала, что Митрофанов покинул Прибалтику, совершив, «по нашим временам, солиситесь, более чем необычный шаг».

— Представляете, — тонко улыбнулся Эрихман — а на лице довольство гурмана, предложившего отведать деликатес, — представляете, супруга Митрофанова сама рассказала ему про свою, ну, скажем так, привязанность к его сослуживцу. Бывает, конечно, но чувства чувствами, надо где-то и жить, и, главное, положение сохранить...

...Немолодой и потому рассудительный коллега Митрофанова к решительным шагам не стремился. Митрофанов отправился к нему и у них состоялся мужской разговор.

— Митрофанов уговорил-таки этого товарища жениться... на его жене! — змыкнул Эрихман, — представляете? А сам уехал. Как бы это сказать, — самоустранился. Когда я о нем наводил справки, ну, скажем так, — приватно, мне знакомые из того института детально описали эту историю.

...Я тоже наводила справки о «больном Митрофанове». Не так уж детально сообщили знакомые Эрихману об особенностях «этой истории». Митрофанов не только «самоустранился». Он «уступил» своему коллеге, человеку в науке неудачливому, эффектную часть своей темы и, оставив супруге квартиру со всем содержимым, уехал. Эрихман считал наиболее рази-

тельным даже не «самоустранение» Митрофанова, а то, что его супруга, всякий раз, когда переживала облачную полосу в новом браке, приезжала к Митрофанову «поплакать в жилетку».

Впрочем, как потом выяснилось, она приезжала и потому, что в нашем городе Митрофанов жил в своей двухкомнатной маломертжажке вместе с дочерью.

Сейчас, листая записки горячевской поры и натолкнувшись на свои «многоточия», думаю: не тому, не тому удивлялся Эрихман. Ему бы при нашей с Митрофановым беседе поприсутствовать...

А было так, что, одарив соперника частью выгодной темы, Митрофанов не вдруг приехал в наш город. Ездил — примерялся, где его направление оказалось бы «в жилу». А безотходное производство — кому не требуется? Оно требовалось везде. Но везде и были уже застолблены первые колышки других тем того же русла. И Митрофанов выбрал наш город.

— Я увидел — ничего нет. Асфальт! — рассказывал он мне. И решил — вот сфера приложения. Вскочил асфальт, или не я буду... И всковырнул же, как видите! О, я все рассчитал, когда именно сюда ехал. Здесь будет со временем целая школа...

Но не эта часть разговора поразила бы Эрихмана, вполне уверенного в неуступчивости Митрофанова. Я просто-таки вижу его жаждущий обнажения души взор, устремленный к крупному, костистому лицу Митрофанова. Именно так глядел бы он на него, когда тот, чуть насмешливо косясь в мою сторону, спросил:

— Полагаете, за много лет я его возможности неплохо вычислил. Иногда наказание — не отнять, а подарить. Так что, не мните, будто я великодушно уступил жену плюс тему — чушь! Просто я предоставил тем двоим, — влюбленным, словом, — казнить друг друга.

И такие бывают, значит, многоточия. Но это так, попутно.

Вот они — строки, которые я записала в ту далекую пору, придя домой после

очередной вечерней беседы с Горячевым. Помню — смешно подумать — заперлась в ванной от Володиных глаз подальше. Поэтому и строки нервные, скачущие, — спешила очень.

МЕККА — ...Может, сегодня, сейчас Горячев так размышляет о нашей беседе: — Рассказал ей примерно вот что. Прихожу, мол, в подвальчик. Людей много, кривляются, говорят все враз, громко, слов же все равно никто не разбирает, каждый сам себя слушает. Я их представил, что вот сидят уже без платья, и даже без плоти, — а так, остов один от каждого остался. И все-таки кривляются и враз говорят. Ну, ей-богу, все так бы и было. А наверху — тишина, стройное действо, на вечность рассчитанное, гармония чрезвычайная, ни одна пылинка не шелохнется сама по себе. Без согласования с другой — пропадет. И грозен закон этот, и непобедим. Познать — познаешь, а что толку!..

Он так все и рассказал мне. И про то, как именно в четверостишиях Хайяма-ученого искал подсказки для выхода из собственных тупиков.

— Это ведь задолго до того собрания со мной случилось — ощущение безнадежности, а главное, — презрение к самому себе за рабство духа...

Так он сказал мне, и я еле слышно ответила:

— Но ведь и Хайям побывал в Мекке...

— Вы почему о Мекке вспомнили? На мое покаяние намекаете? — усмехнулся Горячев. — Нет, это собрание не было моей Меккой!.. Абсурдное не унижительно. Осмеянным был не я. Когда они корили меня за то, что я «охаиваю крупных специалистов-литературоведов», они сами себе надавали оплеух. Потому что я подих мертвую схему подставил живую мысль. Не уважая противника, каяться можно без горечи. И это мое «покаяние» — смех!..

В общем он рассуждал здраво: чем бы дитя ни тешилось... в конце концов, он

просто оплачивал возможность хоть как-то, а работать.

...Я еще тогда поняла. О собрании, после которого все случилось, рассказывал он не зря. И вообще — о себе рассказывал всякий раз, когда вздымал передо мной череду давно умолкших страстей и поражений...

«...Хайям сидел около госпожи своей и возлюбленной, держал ее руку в своей и слышал, как ручей ее жизни убывает с каждым вздохом.

— Когда меня не станет, — прохрипела она, — обсерваторию тебе построить не дадут. У власти будут скудные разумом. Сделай все, что потребуют, — да не рассеется по ветру сделанное тобой, — так прощалась с Хайямом его госпожа и возлюбленная.

...И обвинили Хайяма в ее отравлении, и долго пришлось ему доказывать свою невиновность. Как госпожа его и предвидела, от должности астролога его отстранили. Старые недоброжелатели и завистники потребовали, чтобы на Хайяма был наложен запрет, так что все его сторонились как зачумленного, а в Мерви покинутое крыло его великолепной обсерватории беспорядочно вздымало к небу недостроенные стены...

«...Да снизойдет мир на дом твой, мудрый учитель наш Хайям!» — сказал многоопытный политик Тутуш. И — как бы невзначай:

— Ты, как я знаю, много вложил труда в воздвигнутое тобою творение, мой Хайям? Прискорбно видеть сорняки, растущие из щелей недостроенных стен!.. Чуть было не забыл! — вернулся он от двери. — Я хочу попросить тебя об услуге. Если ты надумал бы совершить паломничество в Мекку, — а тебе давно уже следовало предпринять такое путешествие, ибо и годы твои, и сан, и мудрость того требуют, — я попросил бы тебя приложить эти четки к Каабе, дабы стали они для меня еще дороже...»

На том Тутуш удалился, а Хайям долго еще сидел над старыми своими сметами и

С той горсточкой невежд,
 что нашим миром правит
И выше всех людей по званию ставит,
Не ссорись. Ведь того, кто не осёл, тотчас
Они крамольником, еретиком ославят.

...Ох, Володя, Володя! Зачем понадобилось тебе, ничего общего не имеющего с астрономией Горячева, заставить его чертить на доске формулы? Ты, историк, эти формулы понимал? Ты, «лидер молодежи», не стыдился, что перед тобой распинается человек, чуть не вдвое тебя старше, имя которого знают ученые мира? Володя, а сам ты пошел бы в Межку? Не пошел бы. Вот уж чего бы ты не сделал. И еще паломничество такое назвал бы беспринципностью и ханжеством.

Я была на одном «горячевском» собрании. Когда ты сказал о «шерегах нашего вуза», Горячев улыбнулся. И как мне стыдно было, что ты так нелепо руками машешь и говоришь, как для ликбеза. И стыдно — за Дронова, за добродушного Дронова, которому все давно простили, что у него «общая» жена с Ефремовым и что он засыпает на ученых советах. Вот за Дронова-то и было особенно стыдно. Горячев всю жизнь ему верил. Всю жизнь ходил в упряжке с этим толстеньким розовым человечком. А Дронов всю жизнь не мог простить Горячеву, что после его лекций, когда в коридоре слышен звонок, студенты вздыхают: «Уже!» И как же постыдно он суетился, говорил обидное, беспардонно радуясь, когда Горячева сместили и назначили Лизу. Как похож был на толстолапую дворянку, которая облаивает высокомерную борзую...

«Горячев. Высокий и худощавый, с породистой, высоко посаженной головой... О! Мальчишеский его рот... Но к чему об этом? А впрочем, почему и не писать, что у «подозреваемого» Горячева сквозь золотистую с проседью бородку проглядывает мальчишеский рот, и что вот уже сколько лет нецелованный этот рот манит и отталкивает, потому что — запрет!

И теперь уж вполне ясно, — за все эти десять лет я так и не перестала любить Горячева.

И — что есть преступление?
А если бы я точно знала, что только
Нюшка и мешает его любви ко мне, как
бы я оценила его пассивность в момент
ее кончины? Как преступление? Неужто
ж!

Сегодня — ненавижу эту минуту. Себя ненавижу за мгновенное колебание. Даже сейчас, почти через четверть века, читая свои записи и внося в них поправки. Как человек, пытающийся взглянуть на себя со стороны, ставлю себе жирную двойку. Себе — врачу. Себе — человеку. Себе — дочери профессора Полежаева, которого считают эталоном человеческой и врачебной этики! Но — дальше, дальше...

ПЕСЧИНКА НА ПУТИ. — ...Я спросила, почему он стал пить, — Н. В. Горячев усмехнулся: «От одиночества».

— А Нюра как же? — удивилась я. На что он ответил: Она — песчинка на пути.

Опять та же нить. Еще я спросила:

— Вы страшитесь небытия, а почему? Разве вы оставляете милых сердцу людей? Ведь я, Николай Васильевич, знаю вас давно, и думаю, что вам-то как раз глубоко безразлично, что станет после вас!

Он улыбнулся:

— Мне не страшно, а странно: зачем

такая сложная, такая целесообразная конструкция, как человек, распадается, именно когда накопила достаточно знаний, силы и опыта, чтобы владеть окружающим миром. Я стою у телескопа. Он огромен. Я мал. Я мал до ничтожности. Но вижу в мироздании такое, с чем не сравнить ничто, созданное человеком. Я могу это изучить. Попытаться понять. Понимаю. Потом ухожу, а оно, мною постигнутое, тысячелетиями все такое же. А вам — не странно?

Я ответила, что ничуть, хотя раньше никогда не думала про все это, а тут вдруг представила себе: если поверну дело к тому, что Николай Васильевич Горячев в здравом уме, его обвинят в гибели Нюры. И не станет Н. В. Горячева. А тогда — зачем все?

— Вы не страшитесь, — сказал Горячев. — Знаете, я думаю, Хайям был счастливым человеком. Почитаешь его — все просто. Попив из кувшина — побудь им. Это его модель бессмертия, и он ею доволен. Я — нет. Мне этого мало.

— Вы и в письме писали и на собраниях говорили о счастливом Хайяме, — сказала я. — Зачем? Это шаткая гипотеза. Никем не признанная, лично ваша. Сколько десятилетий твердят, что Хайям — эпикуреец, верит в темный рок и боится его, и оттого пирует и богохульствует оттого же. — А нам с вами не пристало бояться. Ведь мы же материалисты! — противным бодреньким голосом воскликнула я и ужаснулась суконной этой формулировке.

Учитель мой, отец мой, врачеватель, как ухитрялся ты проникнуть в тончайшие извилины человеческой души? И как ухитрился Володя прорасти сквозь мой собственный строй мысли, так что я только его словами и говорю!»

И сейчас вижу... Вышел Горячев из кабинета — побрел не спеша в палату. А я пошла домой, взяла заветный ларчик с письменного стола. Ларчик-ковчежец, оббитый медью, на меди рыцари вычеканены. На донышке деревянном написано:

«Горячев, прими для писем. Санкт-Петербург, 1700 год».

Володя вошел и ларчик увидел.

— Реминисценции? — спросил и улыбнулся нехорошо.

— Нет, процесс диагностики, — ответила я.

— Ну-ну, трудись! Только я бы его живо на чистую воду вывел, голубчика.

Я не удержалась и сказала Володе, что его душа обросла толстыми щеками и что его диссертация — пища для крыс 2000 года, и еще новость что. Он хлопнул дверью и пошел к «Бедной Лизе». Это тоже входило в программу образцовой семейной жизни. Все делали вид, что не знают, я молчала, и, слава богу, — все было как у людей.

...Н. В. Горячев, зачем вы отказались от меня, когда я пришла к вам той ночью? Зачем дали мне ларчик — как конфету девочке сунули, вот, мол, тебе игрушка, а меня оставь в покое, я взрослый, ты мне мешаешь! — Так думала я тогда, поглаживая чеканную крышку ларца. Помню, в тот час я надеялась — может, сейчас, лежа без сна, Горячев все-таки подумал наконец:

— Я оттолкнул кувшин, я не сказал ей той ночью слова, которые она ждала, а я оттолкнул кувшин, — может быть, так στεнала душа Н. В. Горячева в тот вечер...

Наверное, я не ошиблась. Потому что наавтра он пришел ко мне, протянул рукопись:

— Прочтите. Может, вам будет интересно.

Лицо его было необычно. Оно как бы теплилось изнутри. Горячев сел на диван и сказал:

— Ирина Спиридоновна, присядьте, если дозволено доброму человеку сидеть рядом с подозреваемым, вроде меня. («Подозреваемый» — звучало по-горячевски иронично).

Я села и подумала: теперь он все расскажет. Но он сказал другое, и сейчас, через столько лет, помню едва не каждое слово:

— Я долгие годы вас любил. Еще с тех пор, как вы ходили в больших валенках. Я не сказал вам этого тогда ночью, потому что не смел связать вас со своим одиночеством. И со своими сомнениями, как впрочем, и говорил вам. Только я не сказал тогда, как трудно мне было не поцеловать вас. Я решил рассказать это сейчас, что бы потом ни случилось. И еще я хочу сказать вам, что вы — лепесток чайной розы, а я — кряжистый старый дуб, случайно вставший на пути немого весенним ветром лепестка. Теперь же я пойду, и вы на меня не сердитесь, что я завел разговор о своем чувстве, стоя чуть не в преддверии небытия.

Я пришла домой, прочла рукопись. «Если бы спросить Хайяма» называлась она. Это была как бы история стихов Хайяма. Но это — как будто. Историю Горячева — вот что я прочла. Историю его непонятости. Более того — историю его любви ко мне...

Я попросила Володю зайти на кухню. Мне надо было готовить обед.

— Мы, Володя, должны разойтись, — сказала я. — Я не люблю тебя. И оба мы одиноки.

Он посмотрел на меня обалделыми глазами, но быстро спохватился и усмехнулся зло:

— Горячев на поправку пошел? Усредняется, голубка, усредняется. Он — на поправку, а ты — свихнулась. И подошел ко мне плотную, взял за плечи, встряхнул жестко:

— Разойтись? Очень это у тебя просто получается. А как же ВАК? Если кто-нибудь хоть словечко свистнет об истории с Горячевым? Ведь пропало все. Весь мой труд пропал. Не смею путаться с ним, поняла? «Жена Цезаря вне подозрений», — поняла?

— Цезарь, отпусти мне плечи, котлеты горят! — сказала я, и он отпустил и, встав у дверей, прошипел:

— Ты все поняла, что я сказал? Уяснила? Так вот, если что про тебя с ним просочится, я это дело прикрою. Своим

авторитетом. Скажу что Горячева ты впервые увидела в лечебнице. Ты понимаешь, что от тебя требуется? Скажешь — ненормальный. И все. Пусть в лечебнице поживет. Тогда, если про тебя болтать станет — никто не поверит, ни сейчас, ни когда выпишется. И надо, чтобы выпился. Лиза хлопчет. Уже всех разжалобила. Так что твое участие — лишь подтолкнуть куда следует. Но — не слишком. Долго его держать нельзя. Лизе он нужен. Но чтобы никаких глупостей! Живем, как жили. Лизы — не будет. Это я могу обещать. Тем более, Горячев — вдовец новоиспеченный!

— А разве Лиза была? — невинно спросила я. — Официально ты мне про это не сообщал.

Он ушел, хлопнув дверью. Он обожал хлопать дверью. Когда рассказывал о своих делах, так и говорил: «Я ушел и хлопнул дверью».

ПРОИГРАННАЯ ПАРТИЯ. — Отчетливо помню и сегодня, как на следующий вечер пришла к Горячеву и присела у его изголовья. Он тяжело вздохнул:

— Итак — партия проиграна. По чьей вине? Рок! Еще Аристотель сказал...

— Нет, про Аристотеля не надо! — встrepенулась я. Не о том, не о том хотелось мне говорить с ним...

Он улыбнулся.

— Хорошо, не буду про Аристотеля. Я здесь, наверно, последнюю ночь? Завтра меня переведут в клинику? Никто мне ничего не говорил, но я все понял. Сегодня консультант приходил, профессор. Спрашивал. Ласково так, с участием. Да вы ведь знаете, конечно. Все, оказывается, «измерено и взвешено и найден я очень легким». Так в мой кодуит у профессора и занесено. И про злополучный дамский жакет, и про ведро. И никому невдомек, что мой полушубок в раздевалке утащили и, спасибо, чей-то жакет дали вместо. И что вода в колонке кончилась — что-то где-то прорвало, а мне на лекцию, — не тащить же с собой ведро — это тоже всем ни к чему. Соседей порасспро-

силы, а они — убежденно: подмечали, собаки постоянно около вертятся. В кино не ходил — жена жаловалась. Сам не гостевал и гостей не звал. И, конечно, «Горячевку» не забыли. Ну, и про Лизу. А в университете — про дело с «Литературным обществом». И в этой связи — про многолетний спор с Дроновым. Я Дронова прямо как слышу: «Да он ненормальный! Для него формула — мертвое представление, а жужжащий электрон зеленый — высшая истина!»

Великое дело дружба! А я, дурак, как-то его разыграл, — это до Ньюры было. Он: женись, мол, чего бобылем живешь! А я и говорю: «Знаешь, Ваня, я думаю грузовичок завести. Маленький, глазастенький. Автобензином поить стану — глядишь и вырастет, как ты думаешь, а?» Он и взвился: «Ты, — говорит, — Микола, помешанный! Тебе кобелей мало? А где ты автобензин достанешь?» Так и это, оказывается, не забыл. Сообщил: Горячев имел давнишний пунктик — мечтал вырастить грузовик и поить его автобензином...

Все это он рассказывал торопясь. Голос сдавлен — будто потерял тембр. Горький был у него голос. Потом он умолк. Закрыв глаза. Рукой откинул со лба седеющую русую прядь:

— Устал я. Да и не станут меня дергать здесь всю жизнь! Как думаете?

И взглянул на меня светлым, пронзительно ясным взором. Где уж ему знать, какая состоялась у меня беседа с профессором, когда припомнилось многое, в том числе и рукопись, названная Горячевым «Если бы спросить Хайяма...»

— Недолго, милый, уж недолго, — сказала я, положив руку ему на лоб, и тоже отвела эту мягкую прядь...

Он поцеловал мне ладонь, вскинув серые, сияющие, торжествующие глаза. И еле слышно сказал, как пароль понятный только нам обоим:

— Ну как, Хайям, выиграл я или проиграл?...

И вот сейчас думаю, — это был самый

счастливый вечер в моей жизни, хотя разрушены и даже разрушены были все запреты и заповеди отца-друга, отца-учителя, отца-врача.

Да что — отца! Смяты, как никчемные обертки, все заветы, которыми сейчас, спустя столько лет, я осознанно дорожу и защищаю их, зарабатывая немало горьких рубцов. Но тогда...

Тогда я еще не знала, что назавтра, назавтра же вдребезги расколется-разлетится этот счастливый миг...

Из записок Н. В. Горячева, сделанных в разные годы в отдельной тетради.

Если бы не Дронов, я бы стоял сейчас в очереди и получал по талону картошку. Женщина в доме необходима. Если хорошенькая, тем лучше.

* * *

Пришел милиционер, привел Ньюру. Говорит, продавала хлеб, а когда задержали, скандалила. Ньюра про хлеб отрицает. Я верю. Потому что — откуда хлеб? Не ворует ведь. Но неприятно, что скандалила. Возможно, непосредственность. И низкий интеллект. Впрочем, отсутствие у нее интеллекта скорее плюс в нашем сосуществовании. Не вижу, что стала бы делать Ньюра с интеллектом, если бы таковой у нее завелся. Записалась бы в библиотеку и читала «про войну» и «про шпионов». А потом бы рассказывала свои впечатления. Как после кино: «а он ей... а она ему». Так что отсутствие у нее интеллекта для меня благо — работать не мешает. И в этом случае скандал в очереди не стоит внимания.

* * *

Явилась какая-то женщина. Назвалась Манефой. Говорит: «Передайте, за норковую доху десять буханок просят». Вечером спросил у Ньюры, что за буханки и зачем доха. Она привычно попрекнула Лизой вовсе не к делу и обругала «растяпой». Впрочем, пояснила: «Доха нужна

для пику!» Якобы от этого меня самого больше уважать станут. У нее варварские представления о значимости вещей. И в этом — закономерность. Человек, проживший в нужде, обретя ничтожное, грудью его отстаивает. Искусство терять — тоже дар. Чтобы, теряя, не отчаиваться. Потомственное владение вещами учит человека не обожествлять вещи. Мои родители в общем легко расстались с Петроградским родовым гнездом, потому что для них вещи не могли быть фетишами. Про буханки Нюра объяснила: буханка, оказывается, — «тысяча», и сказала, что я все напутал. То есть, доха стоит десять тысяч. Ну — дело ее. Доха, так доха. Займется дохой, перестанет о Лизе думать. При малоразвитом интеллекте двух доминант не бывает.

* * *

Непостижимо! На рынке продавала картошку! Есть ведь литерный наек. Говорит: «Это тебе Лиза отпартовала, знаю, что меня видела!» И язвительно спросила: «Ты заметил, между прочим, у тебя шуба на хорьках?» А я действительно — не подумал, откуда шуба. И причем здесь Лиза? Хотя, если видела Нюру на рынке, — неприятно. Вобщем — картошку я запретил! Но понимаю, что стяжательство закономерно для малоразвитого человека, и как закономерность — объективно неизбежно. Картошку Нюра выращивает сама. Вправе оценивать свой труд произвольно. Но продажа на рынке вызывает толки. Лиза говорит, что толки могут повредить при оформлении поездки на симпозиум. Так что продавать картошку я запретил. И тоже — закономерно.

* * *

Эвакуированные едят жмых. Хлеб клейкий, черный, и мало его. Я спросил Нюру, откуда у нас белый. Смеется: «Вымениваю сигареты из пайка, ты же махру куришь». Ну — ей виднее. Не мне же пайком ведать! А смеется-то как ладно!

* * *

Ветрел сегодня девушку. Джойку репой угощала. Трогательная девушка. Я ей конфету дал. Не взяла. Мама, говорит, не велит попрошайничать. Видно, из эвакуированных. Может, из Ленинграда? Странно — Ленинград по сей день считаю родным и единственным «своим» городом.

* * *

...Опять устроила сцену из-за Лизы. Говорит: «Выгони ее, она — твоя любовница, сама рассказывает!» Кошмар! Дронов говорит, выгнать надо Нюру. Выгонишь ее! Времени сколько убьешь: объяснения, дележки. А дома я, в сущности, почти не бываю. Книги можно — в обсерваторию. Сад только жалко! И квартира ведь моя, личная! И все в ней — трудами, моими личными. Чтобы мне, потомук моих родителей, до нынешнего положения дойти, горы грызть надо было. Но я смог. Ибо не только талант, но и работоспособность, — вот привилегия потомственного интеллекта...

...Что до интеллекта, — вот о чем с Митрофановым беседовали не раз-не два. Из последнего разговора на эту тему:

— Ведь что происходит? У моих молодцов, которые к степеням рвутся, — ленивая душа. Обессточенный интеллект. Они даже на тщеславие не способны. Тщеславие — страсть. А у них душа к страстям не приспособлена. Тогда, что — голод ума? Получат-де степени, и зеленая улица, сами станут задавать научные направления? Ничуть. Потому что умственного накала у них — как раз подсчитать надбавку к зарплате.

— А вы не принижаете их сознательно? — спросила я не без укора.

— Принижая? — Он взглянул на меня светлыми, насмешливыми глазами, в которых немало было небезопасного мальчишеского озорства.

— Я, знаете, как интеллект представляю? Вполне зримо: мозг, оплетенный се-

тью непрерывно возбужденных точек. Только не в полную силу. Возникла потребность — и вспышка! Момента́льно срабатывает «боевая готовность». А вспышка — непредсказуема. У них же — тусклые мозговые отходы! — Брезгливая складочка легла у губ. Голос — обиженного ребенка.

Я подумала, удивительно, Митрофанов четко сознает свое превосходство над обложившими его «толковыми ребятами», а справиться с ними не может. Представила себе Гулливера. Чтобы объясняться с лапутянами, надо не только стать на колени, но и вовсе лечь наземь — к уровню слышимости поближе. Если же нет — числом возьмут. Измором. Для измора интеллекта требуется немного. Как это Митрофанов давеча мне рассказывал «Всковырну, мол, асфальт...» Не оценил он толщину асфальта, видно. Не Эризмани — Митрофанов угодил на больничную койку...

Впрочем, разве Горячев не был так же бессилен против многих тех, о коих, если и вспомнят, так только оттого, что они — из «школы Горячева»? А уж против Нюры он и вовсе пасовал, мудрец Горячев...

Листаю вот его записки — диву даюсь.

* * *

Книги отдала только «без золотых корешков». Ну и ладно. Что нужно для работы, я все-таки унес. Какая, однако, мерзость! Сидел до вечера в обсерватории. Потом обедать собрался. Кликнул Лизу, а она ушла. У меня денег не оказалось. Пошел домой. Нюра на стол собрала, как ни в чем не бывало, подала пирог с рыбой. Удивительный пирог! Потом просила прощения. Говорит: «За тебя, Николаша, я глотку перегрызу, не то чтобы сплетни слушать, что ты пьяный на лекции ходишь и с аспирантками путаешься. Лизка уродина, а ты у меня сластена!» Разговоры про Лизу — чужь. У нее тончайшее восприятие деталей и колоссальная наблюдательность. Без нее — как без рук! А что сама про себя болтает — ее дело!

* * *

Ночью пришла Нюра и поцеловала вза-сос. Налаженный быт имеет свои неудобства. Жаркая она! И потом пахнет, словно полы только что мыла. Наутро объявила, если не порву отношений с Лизой, выпьет «Манефину травку», то есть зелье какое-то, о котором болтают в городе. Далась же ей Лиза! Особенно после того, как та, наконец, кандидатскую защитила! Впрочем, возможно, я и в самом деле отвел Лизе слишком ощутимое место в своей работе. Как это получилось, сейчас не скажешь. Может, отчасти оттого, что Лиза бесцеремонна. Никакого достоинства. Отстранить даже от незначительного дела — невероятная трудность. Ни на что не обидится, унижаться станет, а потом — требовать, плакать. Тем самым нарушит равновесие — страдает работа. Поневоле уступишь — а она примет как должное. Притом глядит подобострастно, как дворняжка на хозяина.

* * *

Пытаюсь установить хоть некоторую дистанцию между собой и Лизой. Слишком настырна. Начисто без самолюбия. Услуги предлагает навязчиво, и, если делает добро, от ее добра тошно. Столько в ней подчеркнутой скромности и плохо скрытого торжества, что вот за помощью обращаются к ней, а не ей приходится!

Несмотря на мои протесты, затащила опять на литературный вечер. Явно хочет, чтобы нас видели вдвоем. Не пойти — укоризненный взор, меловая бледность на завтра, разлад в работе, тяжелое настроение. Пошел. И вижу: девчужка, что Джойке репу предлагала, читает стихи. Прекрасно читает. Время-то как бежит — уже студентка. Лиза возмущалась: зачем пропагандировать средневекового эпикурейца. В зале шептались. Омар Хайям — «персона нон грата»: его стихи не способствуют укреплению нравственных устоев молодежи. А по-моему, стихи поразительные и сегодня весь день

у меня из ума не идут. Многое в них мне созвучно:

Ты к людям нынешним не очень сердцем льни. Подалежь от людей быть лучше в эти дни. Глаза свои открой на самых близких, Увидишь с ужасом: тебе враги они...

* * *

Итак — Ленинград. Симпозиум. Город, город, город! Дом ученых. Мойка, Литейный. Шпиль. Жемчужная мгла ранних сумерек. В Доме ученых — номера на разных этажах. Лиза холодна и подчеркивает, что в обиде. С чего бы? Не стал думать об этом, — право, вздохнул полной грудью, почувствовал, вот та жизнь, которая меня обошла стороной, к которой только урывками, только «долбя гранит» могу быть причастен. Сколько несделанного. Сколько могло быть сделано, если бы не на тропинке, а в колее науки стоял. Стоял бы... Только чтобы выстоять, сколько лет приходилось все начинать с нуля. Обсерваторию отстайвал — как крамолу прикрывал. Оборудование добывал — как ото рта у сирот отрывал. Настолько всем казались не нужны мои работы. А с кем работал? Головки-то слабые, слабые-то головки. На мышление не тренированные. А амбиций — кандидатская еще только намечена, а престиж мнится академический...

...Доклад обернулся триумфом. Вопросы устные и по запискам так и сыпались. В перерыв ни минуты не оставался один. Я был счастлив. До сих пор я ничуть не был склонен к декларациям о «славе отечественной науки». Но тут все изменилось. Теперь я был уже не просто некто, Горячев, периферийный математик. Я представлял целую отрасль русской науки.

Лиза терлась около «этих господ» скакой-то неестественной улыбкой на неестественно напудренном лице. Улыбочка была не то приниженная, не то язвительная. Мне прибить ее хотелось! Никак не

усну. Вздуроражен. Хороший был день...

И все это сделать удалось у нас, в нашем-то медвежьем углу, к которому, будь он неладен, прикипел-таки настолько, что возгордился — вот, мол, и в глубинке тоже не лыком шиты... За свой университет возгордился — будет чем отчитаться, как приеду. Хотя и щемит душа-то. Ведь они здесь даже свою лексику изобрели. Не термины — нет. Словечки условные, с одного лишь намека им понятные. Потому что они — каста.

А я хоть и признан, но — вне. А вообще-то они проще. И словечки их — архитектурно-литературный жаргон. Порой — шуточный. Попробуй у нас на семинаре на таком жаргоне выступи! И вот чувствуешь себя старомодным, будто в черном костюме на пикнике. Потом, когда освоишься, да они переведут на свой жаргон плоды твоих поисков, разыгрывают: новизна, находка! Сотрудничество, помощь предлагают. Словом — принимают, как своего. Да что, как своего! С изумлением глядят...

* * *

Симпозиум продолжается. Завтра второй доклад. Лиза со мной не разговаривает. Сидит около, когда заморские светила ко мне подходят, ломая язык, лепечет приветствия по словарiku. Некоторые неплохо беседуют по-русски, и тут уж она бойко беседует. Поглядишь, все сделанное — ее труды. Вечером в Доме ученых опять вместе шли. «Нисколько Вы не умеете людей чувствовать», — говорит. Я удивился. «Завтра доклад могла сделать и я, вам что — славы недостает? Всего ведь достигли. А мне, знаете, доклад — ступенька», — и всхлипывает. Я ей: «Так ведь все расписано, сейчас — как менять? Это вам кажется, будто доклад — ступенька. Не он же определяет ценность работы». Она только плечиком повела: «Прописные истины говорите, просто вам жалко, чтобы никто и близко с вами рядом не стоял». И ушла — засемила вперед.

* * *

В вестибюле меня ждала: «Зайдите после ужина, очень нужно поговорить!» Глаза жалкие. Лицо — в слезах. Пришел к ней. Сидит в кресле, халатик на ней цветастый с оборочками, нарочито с плечика приспущен... Улыбается неестественно: «Я вам свою молодость отдала. Вы и не замечали, что я — женщина. Думаете, я днями и ночами в отделе только из-за кандидатской торчала? Думаете, я сухарь? Я же для вас стараюсь. Вы результатов ждете — я выкладываюсь. Могу вообще не есть, не спать. Лишь бы для вас все сделать. Потому что люблю вас. Люблю, вы знаете, не притворяйтесь. Просто вам никто не нужен. Такой вы человек. Одиночка. Но вы мне хоть помогите. Поддержите меня...» Вот такие речи.

— Что требуется? — спросил я.

— Вы знаете — отдайте мне завтрашний доклад.

— Но ведь программа составлена!

— А вы заболели. Ну, скажем, давление подскочило, или — грипп...

* * *

Доклад я ей отдал. Версию давления разыграл. Но в зале присутствовал. Как ее окружили, как она сияла, как бросилась ко мне, обняла! Глаза же — матовые, настороженные. Играет на публику. Благодарная ученица чтит учителя. Нам обоим устроили что-то вроде овации. Работа, похоже, действительно примечательная. А потом — такая чувствительная сцена, прямо для обложки журнала... Когда, когда же бывшая аспиранточка так поднаторела в искусстве достигать? Ничего не пожалела, и даже халатик с оборочками поставила на доску — вдруг сыграл бы. А разговоры про чувства — это то же, что оборочки. Впрочем, своего она добилась. Хоть косвенно, а воссияла...

В общежитие шли с ней вместе. Она что-то такое сообщала о закулисных делах симпозиума. На это она мастер — на закулисные дела!

Я шел молча, ни о чем не думал. Я был

частью этого города, с которым наконец свиделся, я был пылинкой в сонме ученых, прославивших Россию, я представлял и этот мой город, и единственную в своем роде русскую интеллигенцию, которую во все времена безошибочно можно было отличить от стереотипной интеллигенции любого континента.

* * *

Возвращение к родным пенатам. Доклад и отчет о поездке на ученом совете. Довольно кислое поздравление Дронова. С чего бы?

Я увлекся и занесло меня в сферу, для меня не свойственную. Доложил по теме, о дискуссии рассказал, а потом — о гордости. О том, что почувствовал после первого своего доклада. Симпозиум — международный. Я и увидел перед собой — человечество. И еще я рассказал, что нагляделся на новеньких мальчиков от науки. Ломанных, жеманных, эстетствующих. Которые не живут, а говорят о жизни. На которых глядя и повелось — «гнилая, мол, интеллигенция». А гнилой — это эпигонствующий, едва поднатаскавшийся в грамоте «интеллигент по должности». Российская же интеллигенция — непобедима. Ибо интеллект — тверд, собран, светел. Интеллект — не индульгенция на богемность, не уютное всепрощение, не право на безделье в ожидании вдохновения. Интеллект — оружие. Интеллект — безотказен, ему нет нужды ожидать наития; сколько надо, столько и выдает полной мерой. Не для себя — для дела. Для человечества. Так я говорил.

...Ой, что было! Сперва — молчание. Потом — шорох по актовому залу прошел. Молодежь хихикала — такая романтика кажется допотопной. Потом Ваня Дронов поднялся и, шурясь, в меня взгляделся: «Поблагодарим нашего уважаемого Николая Васильевича за эмоциональную речь! — пригласил он семинар. — А теперь попросим Елизавету Антоновну выступить по существу».

Лиза выступила. Так же бойко, как и на симпозиуме, но уже без реверансов в мой адрес, рассказала о поездке, как нас слушали, как выглядели те да эти зарубежные величины. Ей дружно хлопали, и Ваня Дронов пожал ей руку, выразив надежду, что «это лишь первый шаг» молодого ученого Юренево́й, возвращенной в стенах нашего славного вуза, на стезе отечественной науки, и, надеюсь, что имя ее станет рядом с теми, что высечены на мраморных стелах в вестибюле университета... Он так хватил через край, что семинар замер. Лизины заслуги на мраморную стелу явно не потянут даже в необозримом будущем, потому что дальше исполнителя она не шагнет. Ну, нет в ней искры божьей, что ты будешь делать! Тем не менее она сама ничуть не растерялась, а заверила, что заслужит, оправдает, выполнит, только бы ее учитель — сиречь я, грешный, — не лишил ее расположения и поддержки...

* * *

На пути к дому, в саду, встретил Дронова.

«Скромней, брат, надо быть! — ухмыльнулся он. — А то спектакль разыграл: отчизна, человечество, российская интеллигенция... Забыл золотой завет: не обобщай! Вознесся — на тебя, видишь, человечество глядело. Ну, доклад сделал, ну слушали тебя. Кто спорит, Горячев — это имя. А чем тебе еще заниматься, как не наукой? Другие за тебя вкалывают, лекций у тебя — профессорское число, ты бы посчитал общую нагрузку. Практические за тебя Лизавета ведет. За отчетами к тебе лаборанты на дом ходят — ты же выше отчетов, ты — творец! Скромнее надо быть, Микола, это я тебе как друг говорю. И потом, что там у тебя с Лизаветой вышло? Ты что — доложиться ее не пускал? Боишься обскатет? Гляди, нынче молодежь пошла — ой-ой!»

И доверительно взяв под руку, не прошептал — проворковал: — Слушай, Микола, у меня, думаешь, на пятках никто не

вязнет? Такой сахар, как Володя Великанов, мне прямо в затылок дышит. Говорят, болтает: Дронов-де, того, — от жизни отстал. А я, между прочим, тебя на год моложе... Давай так: прижми ты Великанова через его хайямистов, ты же дока в литературе. Пусть посмеются — словом, авторитет лидерский сбей с него. А я Лизавету попридержу — идет?

Что я ему сказал, даже и не помню. Только он со мной неделю как не раскладывается. Встретит — и не видит. Особенно, если кто рядом. Вроде сигнал подает — ату его. Я, мол, с него десницу снял — не поддерживу! Похоже, мой успех на симпозиуме мне еще припомнят... И все-таки было торжество! С собою-то чего скромничать — именно торжество и было.

Ведь в который раз вижу: они там, на широкой колее ствол гладкий изучают — упиваются. Может, мальчиков-крепчай там развелось слишком много. Машина — их кумир. А она, родимая, без собственного разума — железка. А интуиция для них — мертвое слово. Как для Дронова — «гордость ученого» или «человечество». Самые лучшие слова затерты до дыр. Много их говорим — самым тошно. И слова — умирают.

...Вот-вот. Именно — слова умирают. Митрофанов мне рассказывал, когда он приехал из своей Прибалтики, сразу же начал «пробивать» тему, которая и стала сейчас яблоком раздора. И тогда меня поразило, что уже при первом знакомстве они с Эрихманом оказались по разные стороны сразу пролегшей между ними черты.

— Отходы производства, — говорил Митрофанов, — оборотная сторона не прогресса, а убежденности человека в мнимом величии. Мы — как червь в яблоке. Выгрызаем его изнутри. А после нас — надкусит кто — добром не помянет...

— Вы и Эрихману так сказали? — спросила я.

— Ну, может, не совсем так, — усмехнулся Митрофанов.

— А он?

— А что — он? Понимающе на меня поглядел и сказал: «Давайте без агитации. Будем говорить прямо: вам для защиты докторской надо тему продолжить?»

...Знакомая ситуация. Для меня лично «вы меня не агитируйте» — красный платок. Словно все уговорились: между собой в игры играть не будем — все знаем, что Деда Мороза нет. А хорошие слова — это для газеты.

Сейчас, вспомнив митрофановский рассказ, по-новому вижу былую черту между Горячевым и Дроновым, который пуще всего верил в золотой завет: «не обобщай». Горячев же взрывал университетский покой.

* * *

Устроили громовое собрание. Профсоюзное. Двадцать лет кафедрой заведовал. А тут, ошибочно, оказывается, заведовал. Проглядели. Знаменательное собрание! И кто подсобил? Первый друг, Дронов, величина! От него все и пошло. Глупостей уйму наговорил и даже энциклопедистом обозвал. И считал, что оскорбил. Дескать, более ста лет удаляемся от энциклопедистов по пути к теории, а я, мол, тащу науку назад. Я же обозлился и говорю ему: «Не к теории вы пришли, уважаемый Иван Андреевич, а к силлогизмам. Стройно все на бумажке укладывается — вы и рады». Ура! Торжество теории. А что это торжество и близко к действительному положению вещей не стояло, это вас не смущает. Зато стройно-то как! Тогда другие на меня пошли стеной — мелюзга. Один встал: «Идей у вас слишком много! Работать надо, а не идеи выдумывать. Много думать тоже толку мало!» А другой: «У вас кафедра разваливается. Читает-читают ваши люди, да не то читают». Я в изумлении: «Откуда известно, кто, сколько и, главное, что читает?» А этот, Володя Великанов, из напористых, прямо и говорит: «Мы карточки проверяли в библиотеке». Я возмущился. У меня, говорю, такие, мол, и такие журналы выписаны. У меня сотрудники всеми книгами

в любое время пользуются. Говорю, а самому тошно. Чувствую — оправдываюсь словно бы. И ведь смешно как будто, а обвинение и оправдание мое — как дурной сон! Напористый не отстает: «Еще проверить надо, какие у вас личные книги дома! Может, они и вовсе закрытому фонду подлежат. В вашей семье вообще много странностей... В концертах вас видят с одной особой, фамилию которой из уважения к ее научным успехам называть не буду. А между тем музыка вовсе не входит в круг ваших занятий». Все так и сказал. Я тут совсем выдержку потерял: «Со мной, говорю, еще два дога живут. У каждого морда с ведро. А по этому поводу, мол, у вас никаких возражений не имеется?» И еще они долго корили меня за нетерпимый характер и за сарказмы. И за то, что я, якобы, в коллектив не влился, заносчивый, чужой всем. В общем, они очень на меня обиделись и занесли в протокол: «Неуважение к сотрудникам и к производственному собранию». И пошел я в подвальныйчик. А в подвальныйчике вспомнил стихи Хайяма. И почувствовал, во многом его путь — мой путь.

* * *

Официальный вызов к Дронову. Пришел к нему, он пригласил сесть, но руки не подал. Напыжился и глядел поверх меня, в пространство. Обратился на «вы».

— Я очень удивлен вашей манерой держать себя, Николай Васильевич, — говорит. — Собрание на вас в обиде. Я опять хотел бы сказать вам, что нужно бы поскромнее быть, что ли... Ну, я, как и все другие, вполне сознаю, конечно, ваши заслуги в науке и разделяю общее к вам уважение. Вы знаете, что нас с вами связывает многолетняя дружба. Но поймите! Человек, который трудится на ниве просвещения (так и сказал!), обязан делать открытия (так и сказал!). Это не заслуга, это его обязанность.

Все мы работаем, что-то находим, что-то удается, а что-то и нет. Все мы тру-

женники науки, ей служим, забывая о славе и корысти. В вас же чувствуется какая-то надменность, чрезмерная независимость. Будьте же скромнее, черт возьми! Проще будьте! — вышел он наконец из ректорской роли и дальше продолжал говорить уже в обычной манере...

* * *

Ушел от Дронова в смятении. Представил, что должен чувствовать врач, потерявший близкого человека, увидев под микроскопом бактерию, которая того убила. Не то невыносимо, что Дронов испоганил законную гордость за сделанную работу, а что этакая бактерия пытается тормознуть любого мыслящего, познающего, изобретающего. И каково же место человека в системе вселенной, и всех деяний его, если — вот он, бактерия, — и нет ни человека, ни деяний. Пытаюсь понять: мог ли, допустим, Хайям-ученый, светило своего времени, испытывать столь знакомое мне смятение — зачем человек так незащищен. От этой самой бактерии. От брэнности своих дел. Если достаточно Дронова — и ты уже не творец.

* * *

Сегодня у телескопа почувствовал себя душно. Ночью почти не спал — у Нюры был приступ. Ощутил так, словно небо полетело на меня. Стоял неподвижно, а все как будто вертелось вокруг. Словно я был осью. Потом наступило расщепление меня и мрак. Когда пришел в себя — подумал: наверное, так умирают. И вдруг представил: небытие — это размельчение человека на столь ничтожные частицы, что они не могут воспринять окружающий мир. Таким образом — парадокс: для всех ты исчез, а вселенная — на месте. Между тем, для тебя, размельченного, ты существуешь, а вселенная исчезла. Может, это и есть смерть? Но тогда — зачем все? И — что есть добро? Зло? Знания, опыт — все осталось в сумме материи, но — бездейственно. Значит — я случаен? Значит я — конечен?

* * *

...И тогда — какие могут быть для меня запреты? Законы материи — вот мои законы. Бесстрастный поиск истины — единственное. И, значит, нравственные прописи — трусость? Гляжу назад — вижу Дронова. Гляжу вперед — Великанов. Важна кривая — куда идет. А она — от Дронова к Великанову. Не много же придумало человечество, чтобы огородить для себя уютный загончик в застылом мироздании и забыть, что все мы — мимолетная мошкара...

* * *

День был ужасный. Для разрядки почитал Хайяма.

Пошел на общество литературоведов и слушал его стихи в их изложении. Утверждают, что он сильно пил и очень боялся смерти. Впрочем, про меня тоже говорят, что пью, а я давно — ни капельки. Просто такая личина меня устраивает. Я, выпивающий в «Горячевке», многим понятнее. Известное дело: на Руси пьяненькому да юродивому — сердце нараспашку. А то — была моя оплошность во время оно, когда в тридцать лет доктором стал, — от всех по своей мерке требовать. Однажды на лекции, гляжу — кто записочки пишет, кто пустыми глазами уставился на доску. А лекция интересная, я сам увлекся. Умолк. Встрепенулись на партах. Я говорю: «Позвольте попросить вон, у кого головка слабая». Обиделись. Началась дискуссия. Я и скажи: «Потомственный интеллект учит работать. Мозг натренирован на работу. А вы почитали страничек десять и головка болит, погулять требуется, поболтать охота». Так ведь на собрании вспомнили нынче. Через сколько лет. Как пример подозрительного высокомерия...

* * *

А пил я в давнее время с Ваней Дроновым. Пока не понял — малейшее послабление — и прощай наука. Тогда и

придумал «Горячевку». Вроде только в одиночку и пью. И все поверили. И про-
стили. И к столу моему за перегоро-
дочкой никто не садится. Ни-ни. А я пи-
ва возьму и сижу вечер. Мне на людях
думается. О деле — только на людях. В
одиночестве же — о другом: чем может
человек возместить себе конечность. Не-
избежный отрыв от творчества. Может,
прав Хайям? Что-то есть в его стихах
мне созвучное. Решил взять в библиотеке
все, что о нем найду, и стихи тоже, все
переводы, какие будут. В библиотеке
встретил девушку. Заговорил с ней, а она
затешила вся. Очень неказистая де-
вушка, но, когда оживится в разговоре,
внутреннее свечение заметно в лице. Она
просила не брать стихов в библиотеке.
Говорит: «Я сама вам принесу, у меня
есть. Старое издание с превосходными ил-
люстрациями». Я согласился.

*Почему-то с давно забытым волнением
вспомнила, как несколько дней назад от-
несла Митрофанову роман-газету. Про
жизнь ученых в каком-то НИИ. Не везде,
мол, так уж все дурно складывается, как
в вашем случае. Он глянул на меня чуть
насмешливо очень светлыми глазами и
выпалил: «Я вас тоже увидеть хотел. Хо-
рошо, что нашли хоть такое заделье». И
на щеках — ямочки, улыбка — во все
лицо. Не много ли о себе думает? Боль-
ной для врача всего лишь больной, не
больше — вот что такое для меня Мит-
рофанов.*

* * *

Девушка опять стояла около «Горячев-
ки», говорит: «Была у вас, но ваша жена
сказала, что вы, наверное, в пивной. Я и
пришла». Позвал ее к себе. Она принес-
ла стихи, которые обещала. Всю ночь чи-
тала вслух. Просидели мы с ней в каби-
нете до самого рассвета, и, казалось, Хай-
ям присутствовал здесь же. Может, стоял
за портьерой, может, подходил к ней сза-
ди и проводил ладонью по волосам, — я
бы не удивился. Таково было волшебство
той ночи. Она же, даже голоса не пони-

зив, говорит: «Я вас, Николай Василье-
вич, люблю. Очень давно. Только меня
страшит ваша жизнь. Не заболеть бы
вам, — вот вы как похудели!» И руку
мою взяла, поцеловала. Я растерялся. Все-
гда знал, что неспроста ее тогда встретил,
маленькую, с плохонькими косичками, с
репой в кулачке. Но облечь это ощущение
в мысль непозволительно. Девушка
сказала: «Возьмите у меня книгу. Это
отцовская». Я хотел обнять ее, но знал —
нельзя. От одного этого жеста мог по-
следовать переворот всей моей жизни.
Книгу не взял, а из шкапа достал лар-
чик. Отдал ей и сказал: дарю на память
об этой ночи. И что любимая ее книжи-
ца как раз в ларчике и уместится. Еще
я сказал ей: «Ларчик очень старый. По-
смотрите надпись на довышке». А де-
вушка во все глаза на ларчик смотрит, и
на лице у нее — опять то же свечение.
Зачем я так сказал? Солгал ведь. Над-
пись сам сделал, когда еще студентом
был, чтобы друзей разыгрывать. Хотя
ларчик и в самом деле старый, родовой.

Проводил ее домой. Она у двери и го-
ворит мне: «Николай Васильевич, поце-
луйте меня!» Я стал на колени и руку у
нее поцеловал. Говорю: «Одинокий я че-
ловек. Душой одинокий. Вы же — как
роса на траве. И любовь ваша ко мне,
вроде апрельского облачка. Развеется
завтра. Да и не любовь это — жалость.
Как к старой собаке». Много я говорил
тогда, а потом шел домой и думал: когда
я все это говорил, ведь и сам верил, что
люблю ее чуть не с первой встречи...

Придя домой, решил: завтра же уеду.
Ее заберу и уеду куда-нибудь. Что —
свет клином сошелся на этом городе? С
такой мыслью и уснул, что любовь есть,
что она — великое волшебство, которое
может распутать все узлы.

* * *

Утром у самого себя спросил в упор:
«Когда ты собираешься покинуть этот
дом?» И тут же уклончиво себе ответил —
надо собрать рукописи, вывезти книги, и

еще что удастся. Ей-богу, я прямо-таки слышал, как рассмеялся Хайям: «Не криви душой. Чтобы уйти — нужен посох. Чтобы остаться, нужно составить список необходимого в пути». Вошла Нюра: «Что, уже сам с собой беседуешь, алкаш несчастный! Ну, пошли обедать. Уха сегодня, твоя любимая. Пусть бы Лизка тебе такую сварила». Потом обняла меня и куснула за щеку. Весьма своеобразная ласка и весьма своеобразное упоминание о Лизе! Говорит, от кафедры меня решили отстранить, вроде бы по болезни. А Лиза будто бы — и. о. Вот бы ей, и. о., предложить по совместительству уху варить!..

После обеда прилег и подумал, что посох, видно, не для меня. Не уйду я отсюда. Если уйду — конец работе. Вся моя жизнь в обсерваторию эту вложена. Каждый винтик кровью полит. И еще книги! Нюра ничего не отдаст. Если уехать — тему бросать надо. Чтобы на другом месте в новое направление войти — это не менее трех лет пройдет. Мне же полвека стукнуло. Нет, лгал я, пожалуй, девчужке. Бессовестно лгал. Не ее жалел — себя. За то, что посещение ее столько вопросов всколыхнуло, и все решать надо, и каждый сулит переворот в жизни. А главное, жалел себя: вопросы буду решать мучительно, а решения не найду. И смятение мое бесплодно — а в смятении, какая уж работа? И еще про ларчик этот мерзко солгал! И понял: девчужку я не люблю. Просто была та ночь — как сон. А и любил бы, что бы изменилось? Для любви нужно много, очень много свободного времени. Наука ревнива. Время учитывает минутами. Особенно, если в мои годы. Девушка к тому же нескладная, и что-то в ней жалкое. Может, оттого, что помню, как в войну голодная ходила, в кулачке репу зажав...

* * *

К юбилею наградили званием заслуженного деятеля. Грустно. Двадцать с лишним лет, как засел в этом медвежь-

ем углу. И прирос к нему. К глухотам этой, так поразившей меня после Ленинграда, прирос. К университету прирос. К обсерватории, к Дронову — будь он не ладен! — прирос.

Глупости вся эта возня и разговоры о том, что будто бы отстранят от заведования кафедрой. Двадцать же лет заведовал! Да и Лиза не согласится быть и. о. Должно же в ней элементарное понятие об этике сохраниться! Впрочем, при ее дружбе с Великановым...

В общем награждение весьма кстати! Дронов поздравил и ехидно усмехнулся на банкете: «Теперь ты, Микола Васильевич, и вовсе у нас зазнаешься!» И тост провозгласил, отлично нам обоим понятный, да и не только нам, видно! «Выпьем за скромность! За скромность ученого, друзья! За высшую доблесть ученого — за скромность!»

Эк его разобрало! Его, ректора, непонятно и непозволительно обойденного званием, и главное: в чью пользу? Меня, на волосок висящего от отстранения.

* * *

И все-таки — парадокс. Я отстранен. Лиза согласилась быть и. о. Слухи подтвердились. Работать под начальством Лизы — юмор, как говорят наши мальчишки. Причина: идеи, вызванные болезненным состоянием. Примеры — высказывания на очередном семинаре: «Я лично могу верить только в ту теорию и в тот расчет, которые просто и складно уместятся ну хотя бы в жужжащий зеленый шарик, который я сам себе придумал для наглядности. Выкладка для выкладки — спор о том, сколько ангелов могут уместиться на острие копыя. Никто не знает, никто не видел, а поспорить интересно. Кто прав — не решишь, а спорящие выглядят сплошь мудрецами».

Ну понятно, все всполошились — посягательство же. Как они наукообразием дорожат — за него жизнь положат! Поэтому что надежно: невежество прикрито,

а главное — от новизны укрыто. Ничего. Я переживу.

После семинара Дронов меня догнал и пошел рядом:

— Так не подпишешь? — спросил, — ну и зря. Думаешь, я дурак, просто так пристал, мне край-нужда в твоей подписи? Я для тебя стараюсь. Слепак ты. Не видишь, со всех сторон молодняк подпирает-подталкивает? Лизке подачку кинь — подпиши. А то хуже будет. Лизкина работа и правда не открытие — ну и что? Не всегда же открытия. Можешь поставить подпись — имеешь право процент с капитала собирать. Можешь уже не вкладывать. Наоткрывал! Хватит. И так — через раз на тебя ссылки в журнале. Хоть математик, хоть астроном — на тебя наткнешься, через имя твое не перескочишь. И тебе не завидую, ты меня знаешь. У меня другая дорога. Я — человек общественный...

И тут я заметил, что Ваня волосы красив. А седина у корней нагло серебрится через каштановый камуфляж. Это он от молодняка обороняется. Видно, и впрямь Великанов — некое знамение...

...Как же, знамение! Когда я только начала «разгадывать» случай Митрофанова, самая впечатляющая встреча состоялась у меня с его сэнэсами. Они оказались не все и молодыми, эти «мальчики» (в их годы Лиза заканчивала докторскую, а я заведовала большим отделением).

Они держали себя слегка высокомерно. Понимали, что отвечать мне необязательно. Может быть, оценивали — со своей точки зрения — невыгодность моего положения: с чего бы врачу вязываться в суть коллизии, что привела больного на больничную койку. Они наверняка так думали. Впрочем, чувствовалась в них некоторая настороженность, а отсюда — стремление повернуть разговор поавантажнее для себя. Оба сеговали на возраст, негласное мнение — за сорок диссертант неперспективен...

— Что он (Митрофанов, то есть!) на психику давит? «Дело вашей совести...

Дело моей совести» — не тот уровень про совесть поминать, — перебивали они друг друга. — Надо быть реалистами: мы не академики, — нам по своему уровню и общаться, — так они вторили друг другу...

— Вы попробуйте с ним поработайте. Он же всех измытарил. Смотришь, люди защищают и защищают. Что — у них сплошь открытия? Вот взять недалеко — академический филиал. Нормальное вполне общение. Может, человек и не первый дока по митрофановской теме — а ничего, взялся руководить. Знает человек, что пробьет на всех уровнях, и лады...

— А он (Митрофанов, то есть!) сядет возле тебя. Помолчит. В глазах ирония. Это он тебя оценивает. И скажет: «Игры ума не видно. Вам, наверное, скучно писалось?» И начнет рассказывать — на пять ходов вперед. Тоже ведь надо и мое самолюбие учитывать. Ладно, пусть я не такой умный, — а мне приятно, что я ему только намек выдал, а он уже, считай, за меня главу написал?..»

— Так вы же не в убытке? — говорю.

— А это как посмотреть, — доверительно сообщили сэнэсы, — ну нет у Митрофанова подписи! А время сейчас — знаете какое?

В общем, я их разговорила — как нарыв лопнул:

— Наука — ринг. Сошел — не поднимешься. Митрофанов сколько лет топчется — ни вперед, ни тебе посторониться...

— Жадничать-то зачем? — вновь перебивали они друг друга. — Он еще вагон накидает. Идей у него хватает. Аж фонтанирует. Подписи только нет, а он понять не хочет. Ну, подтолкнули его маленько...

Теперь они чувствовали себя вполне непринужденно. Они уже говорили как бы снисходя к непонятливости человека «не их команды», а может, «не их времени»:

— Коммуникабельности, вот чего у Митрофанова — недовес. Квалификацией контактность не заменишь! Контактность — лозунг наших дней! — напутст-

вовали они меня, провожая по длинному коридору к выходу. «И никаких проблем» — слышалось уже вдогонку...

Ухитряются же люди без проблем обходиться. А вот Горячев, Горячев-то в своих записках все загадывал себе загадки.

* * *

...Сидел в «Горячевке». Размышлял. Себя корил. Рабства духа во мне много: от собраний этих, от лепета беспомощного на них, от Дронова, от Великанова, от Лизинной побегки к власти. Да и от Нюры тоже. В общем — я раб. Положения пирогов, Лизинных капризов. Сам себя успокаиваю: это я ради науки время щажу. А на самом-то деле...

Разозлился на себя. Подумал, а слабо мне еще хоть на одном собрании выступить «вразрез общественному мнению» — сиречь прописям наших университетских мудрецов. Слабо! — сам себе и возразил. Да неужели же я таков — лучше язык себе откушу, чем опять камень в болотце кину? Что берегу-то? Крохи престижа — так Дронов мне ни симпозиума, ни звания, ни тем более отката от подписи под их с Лизой докладом все равно не простит. А там уж, умеючи если, — чего только не делается...

И решил: вот что, напишу-ка я письмо в «Литературное общество» о трактовке стихов и личности Хайяма. Уж там-то мое мнение математика явно сочтут не ко двору. Вот будет драчка-то!

* * *

И я такое письмо написал. В письме приводил многие представления Хайяма для доказательства собственных идей. О раскрепощении человеческого разума писал я в этом письме. О праве на абсолютную свободу от эмоций и от многих запретов, поскольку человек — дитя бесстрастной материи...

...Свобода от запретов, значит. Что ж, вот пошла я чуть не после первого зна-

комства с Митрофановым в его институт, к Эрихману. Тот удивился. Сжал яркие влажные губы так, что в бороде они все исчезли.

— Письмо в академический филиал? По поводу стихийных митрофановских диссертантов? Какое письмо вы имеете в виду?

Я даже растерялась. Потом осторожно уточнила ситуацию. Наконец — настаивала. Эрихман заметно засуетился. Хотя, кажется, особого смущения не испытывал:

— Господи, ну и что такого — зачем ханжествовать? Дело горело, надо было срочно ехать, а в пятницу директор с полдня выезжает на уик-энд. Мы и подписали за него. Почему вы удивляетесь? В Англии «конец недели» вообще — святая святых. Вы считаете — мы должны жить хуже чем в Англии?

Я так не считала — только ведь речь шла о подлоге, причем никто и не думал его скрывать. Просто Эрихман и компания по-домашнему обтапали это дельце.

— Мы же не дети! — ворковал между тем Эрихман. — Вы говорите, мы обманули Митрофанова. А никто его не обманывал — просто не стали его расстраивать. Он и так ненормально воспринимает все, что касается этой злосчастной темы. Ну, мы и попытались без шума вопрос уладить.

— Вот именно — уладить, а не решить! — вскипела я. — Притом за чужой счет...

Эрихман ничуть не обиделся. Напротив — в его голосе появилась доверительность. Он как бы зывал к сочувствию:

— А что вы думаете? Вопросы, вот именно, надо не решать, а улаживать. К сожалению. Вы меня поймите правильно — вот, например, в институте со степенями плохо. Сыскались двое ребят — напрасно вы про них плохо думаете, нормальные, славные ребята, — хотят сделать себе кандидатские...

— А Митрофанов?

— А что — Митрофанов? Речь о престиже отдела, института, наконец, — так почему из-за его непонятливости все должны терять? У него, видите ли, принципы! А у других — не принципы? Я тоже за общую пользу — не за себя лично — болею! — примирительно искал он моего взгляда, как бы ожидая поощрения...

Надо думать, ему и в голову не пришло бы, что вот он, Эрихман, «дитя бестрастной материи», и именно потому ему все можно. Скорее — думал иначе. Очень знал, что есть вещи, которые — нельзя. Но верил: самое время раздавать индульгенции. Себе и другим. «По объективным причинам». А индульгенции — основа контактности. Сиречь — знамение дня...

Горячев о контактности не пекся. В записях его бушевали смятения той его поры.

* * *

...Чушь! Все это спектакль. Волнует их не Хайям. Очередной симпозиум их тревожит. Для них — красный платок. Рогами в него, рогами! Доклад, составленный Лизой да за подписью Дронова, да по моей теме — копия с известного холста, выдаваемая за подлинник. Я в подделках не участник!

По дороге домой нагнал Дронов.

— Не подпишешь, значит, Микола? — спрашиваает.

— Не подпишу!

Он: «Смотри не прогадай!»

Я: «Слушай, Ваня, Лиза не просто бездарь! Это же я ее выдумал, потому что работать после войны, сам знаешь, не с кем было! Парней война пожрала, девки замуж повыходили — годы упущенные наверстывали, детей нарожали. Какая уж наука! А Лиза — она вроде счетной машины. Считает и записывает. Хоть днем, хоть ночью. А ты заставь ее самостоятельно думать — не обрадуешься!»

— Ты, — говорит Дронов, — неблагодарный и бездушный человек, Микола. Я

про тебя никогда так плохо не думал! Она на тебя десять лет вкалывала, как каторжная, а ты ее бездарью обзываешь. И вообще, я замечаю, ужимаешь ты ее помаленьку! Зря ты это. Недаром ее уж сколько лет «Бедной Лизой» зовут. Жалеют ее все. И я в общем — тоже. Каково ей сознавать, что она перед тобой — ничто! Также ведь драма, как подумаешь...

...И я еще спрашиваю себя, — откуда они взялись-то сегодняшние «славные ребята», «мальчишки-крепчиши», дружненько дожевывающие Митрофанова? Здорово же я играю в прятки сама с собой. Будто на самом деле не знаю — откуда. Просто очень мы были покладистые, очень великодушные, — не замутить бы покоя души, общей бы гармонии не спугнуть...

* * *

По дороге домой подумал: в сущности, почему это я решил «каяться»? Ведь я не им, себе хотел доказать, что не раб. Право на раскрепощение духа хотел я доказать себе. И вдруг — каюсь. Потом, все взвесив, понял, а ведь не каждый бы на такое «покаяние» решился. Бой-то выиграли не они, а я!

И не они мною маневрировали, а я определил исход «битвы за подпись». Что хотел — им высказал, подписи не дал. От работы не отстранен...

Что до «покаяния», если угодно, я обрел свободу быть лицемерным. Да, да... Для человека, с молодых лет обученного порядочности, прибегнуть к лицемерию — тоже нужно барьер пройти. И я прошел. Ибо я не создал эти обстоятельства, а лишь вел себя сообразно здравому смыслу. И разуму. Да-да, разуму, слава богу, способному вычислить без эмоций, как выиграть бой, хотя бы против бациллы. Ради дела. Ради науки.

И все-таки, даже рассуждая так, я — раб. Притом, что весь я — ничтожный комок материи, случайно обретшей форму человеческую. Так, ненадолго! И я еще придумываю себе запреты! Нет, я все-таки не доказал себе, что я свободен...

Когда мы сели ужинать и Нюра поставила на стол подсвечник, почему-то вспомнилась строка: «Пламя светильника сильнее отряда в тысячу копий...»

Вот как? А почему бы и нет? Использовать силу разума и уничтожить все, что удерживает меня от полнокровной жизни разума, то есть от нерабского существования...

Я спокоен. Я питаю к Нюре благодарности за добро ее, пусть ворованного, хлеба, которым я тяжело отравлен. Я много лет работал без помех. Пока Нюра управлялась как хотела. Я накапливал право на раскрепощение духа, требующее сейчас выхода. Накопленное мною — скачок разума, перерождение личности. И что же? Я обворован. Конечно же, обворован, если столько во мне рабства. Именно рабства, — как это я сегодня «каялся»? Зная, как легко могу разбить выставленные против меня аргументы. «Свободу быть лицемерным» — это я себе для успокоения придумал. Нет, за возможность спокойно работать я платил ущемлением духа. И на собраниях, и в этом доме. Значит, обворован не только я, но и истина. Обворована наука. Может быть, человечество. Да, да — человечество. Разве найденное мною — не вклад в банк человечества? Скромностью пусть Дронов балуется — ему впору. И выходит — сейчас, когда дух мой перерос пределы Нюриных забот, ее добро обернулось злом. Значит — пока хоть от этого ига высвободиться...

Пока я размышлял, Нюрино лицо наплывало на меня, огромное, багровое. Я пытался ее оттолкнуть, и она меня ударила. Потом рыдала, выкрикивая, что все понимает, и что всему виной Лиза. Слов я старался не слушать, потому что в голове залег свинцовый туман и от всхлипываний в ушах было больно. Я тоже что-то говорил, убеждал, успокаивал, но она твердила «выгони ее, обещай, что выгонишь!» И тут же пригрозила: «Не обе-

щаешь — выпью Манефин отвар!» Я бы мог объяснить ей, что «выгнать» Лизу не в силах, — уже не я, а она заведует кафедрой и того гляди — выгонит меня самого. Но не считал нужным объяснять, потому что не поверила бы. А если бы и поверила, то уж вовсе бы распоясалась, потеряв ко мне прежнее благоговение. Несмотря даже на скандалы, я всегда пытался соблюдать между нами дистанцию. Притом она много раз так грозила, и я не поверил. В городе много болтали: «Манефин отвар», «Манефина травка», но я всегда думал — вздор!

Она зашла в комнату и вернулась с пузырьком в руке. «Не выгонишь?» — спрашивает и пузырек ко рту несет. А мне смешно. Я не склонен к мелодрамам. Да и далась ей Лиза в самом деле! Нашла к кому ревновать! Знала бы о той ночи... Зачем-то стал объяснять ей, что не годится привносить личные вопросы в рабочую сферу — я говорил, как думал. Она не слушала, глядела поверх меня. «Значит, не выгонишь?» — сказала довольно спокойно, и я подумал ярость ее прошла. Но она несколько раз глотнула из пузырька и молча на меня испытующе глядела. Я подумал: оценивает эффект. Тогда она и говорит мне: «Это я мертвую траву попробовала, пока действует, полчаса пройдет». Я молчал, как будто не слышал. Нюра не унималась: «Если обещаешь прогнать Лизку, я другой отвар выпью, называется «живая трава», так что давай решай!»

Я мог бы, конечно, объяснить истинное положение вещей и прекратить отвратительную сцену, но не хотел поощрять попытку вторгаться в мои дела. И потому еще раз начал втолковывать то, что мог бы с чистой совестью назвать причиной отказа от нелепого обещания, если бы в действительности еще распоряжался на кафедре.

Пока я говорил, Нюра посматривала на ручные часы и даже для этого зажгла свечи, которые до сих пор не зажигала. От времени до времени она меня преры-

вала и сообщала: еще двадцать минут осталось, пятнадцать, десять минут. Наконец резко сказала: «Теперь пять минут осталось, решай. Обещаешь, что я прошу, еще успею «живой травы» принять, не обещаешь — господь с тобой, такая, видно моя судьба». Часы под рукав спрятала, перестала на них смотреть и объявила: «Минута всего осталась, Николаша, а ты все думаешь». Я молчал. Она всхлинула: «Значит, не меня — ее жалеешь!» Я твердо решил не поддаваться на слезы. Сидел молча, с любопытством смотрел на ее маневры и думал про себя: интересно, как она из этого положения выпутается, зайдя так далеко!

Тут Нюра даже вскрикнула: «Николаша, мне, может, осталось жить всего-ничего, моя жизнь теперь в твоей власти!»

Я оборвал ее резко: «Перестань, Нюра, дурить!»

Нюра всхлинула, обняла меня и сказала: «Николаша, я тебя как умела любила, обидно мне! Ну пообещай же, что Лизку прогонишь, неужели тебе меня ничуть не жалко?» Я высвободился и ответил, продолжая вымышленную линию «защиты» Лизы, что совесть не позволяет давать обещания, которые я заведомо не могу выполнить и что нужно быть выше пересудов, нельзя губить судьбу одаренного человека, лишив любимой работы...

Пока я говорил Нюра обмякла, захрипела и упала головой на стол. Я было ужаснулся и хотел звать на помощь. Но что-то меня удержало. Я сказал себе, уже совершенно спокойно: проверь трезво — что есть большее зло? Ее жизнь или ее смерть? Вот он, момент, когда ты — не раб. Когда получаешь свободу сам определять соотношение добра и зла. Немного подумав, я решил, что Нюрин уход, тем более такой, — в общем естественный, — благо. Удерживая свой порыв и сознательно не оказывая ей помощи, я сам себе доказываю, наконец, свое право не быть рабом прописных запретов, а

следовать объективной истине. Дух мой раскрепощен.

Я подождал еще немного и приподнял Нюрину голову. Она была мертва. Я почувствовал огромное облегчение. На одно мгновение я был равен природе, — в руках своих я держал нити жизни и смерти. Я обрел высшую духовность — не замутненное служение объективной истине. Я разбил оковы условностей, придуманных человеком для самого себя. Я ликовал. Вот он — коврик, украденный в мечети. Не скромный Хайямов коврик — мой, оплаченный ценой жизни...

...А если бы это произошло гораздо раньше? Когда та девушка была у меня? Нет — лгу. Не любил я ее. И мне бы она только мешала.

Перечитал свои записи и согласен с каждым словом. Теперь можно позвать Митрича. Пусть ее унесет. Ухожу через окно кухни. Записки прячу.

* * *

Пробуждение, намного упростившее жизнь действующих лиц, занятых в этом повествовании, на которых спустя почти четверть века я могу глядеть «со стороны».

...Утром, когда за Горячевым приехали, чтобы везти в клинику, он попросил разрешения проститься со своим лечащим врачом, и ему разрешили. Он зашел ко мне, то есть к Ирине Спиридоновне, и увидел ее у стола. Она сидела чуть сутулясь, лицо и глаза припухли. Глядя на нее, он, наверное, подумал, что ей уже перевалило за тридцать и у обоих у них жизнь прошла бесплодно.

Он подошел и сказал чуть слышно: «Побывайте у гончара, пусть даст вам напиться из самого стройного кувшина».

Я сидела неподвижно, так и не взглянув Николаю Васильевичу в глаза.

Горькое же похмелье — чтение этих записок...

Господи, неужели я действительно могла тогда хотя бы на мгновение желать

виновности Горячева, теша себя жертвой, которую он якобы принес во имя любви? — так думаю я сейчас, листая свои тетради.

И все-таки — с собой-то чего лукавить! — даже на это у меня не хватало определенности в ту пору. Нет, в ту пору я просто обиделась на его записки. И я хотела, чтобы он был мне гадоком. Чтобы жалок был. Так меньше для меня беспокойства. Раз уж он меня не любил... Тогда лучше, чтобы Горячев был болен, и формально ни в чем не виновен. Чтобы в бреду был и не Ньюру сознательно устранил с пути, а так — кошмар отогнал. И чтобы — все ложь. «Горячевка» — защитная маска? Пусть и это тоже ложь. Так оно проще: тривиальная хворь, агрессивный уклон. Проще, проще так. Для меня спокойнее. И в этом случае никакого марева, и ничего не было, и никаких даже многоточий... А в дневнике:

И вполне, значит, оправдан набор Володиных эпитетов: алкаш, цокнутый, комплексы... Однако — при чем тюльпан? И тем более лепесток чайной розы... Но — довольно! Никаких стихов. Нервически ущербный человек, Н. В. Горячев во время приступа белой горячки (но ведь он не пил, знала же, что не пил!) довел до сердечного приступа с летальным исходом свою сожительницу, не оказав ей никакой помощи, когда спасти ее было вполне возможно...

А у меня, у Ирины Спиридоновны Великановой, все в полном порядке. И дальновидный и преуспевающий муж. А «Бедная Лиза», — не будет и ее, если с Володей поговорить на понятном ему языке. Вообще надо говорить с ним на его языке. И опять наладится наша образцовая семейная жизнь. Без Лизы. Тем более она уже вовсе не «бедная» — теперь ведь Горячев свободен. Во всех отношениях. От обвинения, от Ньюры, от воспоминаний — и не только. Консультант детально рассказал ему как и от чего произошла Ньюрина кончина. Никакого отравления не было, а была критическая ситуация, и от

нее — очередной сердечный приступ. А сердечный приступ — вещь загадочная. Для совести...

...И будет Лиза носить Горячеву в больницу стандартные передачи, а потом, когда он выйдет отсюда — а ведь выйдет, потому что мест как всегда не хватает, — станет, наконец, его женой. И будет на этом свете еще одна образцовая семья тружеников науки.

Так, терзая себя, рассуждала я тогда. Кусая кулаки, чтобы не реветь в голос, — так думала я тогда, в ту пору, когда и правда могла бы рыдать, как сейчас даже в плохих кинофильмах давно не случается.

Сейчас вспоминаю: Николай Васильевич сидел в вестибюле в ожидании сопровождающего, который должен был отвезти его в клинику. Возможно, он осмысливал содеянное. Сегодня, по прошествии стольких лет, пытаюсь услышать его мысли той поры:

— Наука — высшая истина. И я испытывал свое право следовать бесстрастной истине. Жизнь и смерть — вот ее ставки!..

Стоило, в самом деле, упиваться стихами Хайяма, чтобы прийти к банальному в наши дни выводу: цель оправдывает средства...

* * *

Из откровений Манефы на одних поминках, до которых она была большой охотницей.

...Это что! Прожил человек, сколько положено, и помер. А вот крестница моя, ей бы жить да жить! Большой силы была женщина, а преставилась в одночасье. Ой, да что вы болтаете — самоубийство, самоубийство! И меня тоже за это зря тягали. Только все это сплетни. Потому что никакого самоубийства не было. А самое что ни на есть убийство. Доктора отчего отравления не признали? Потому что неоткуда было отравлению взяться. Она настоечку хлебнула, что я ей от сердца приносила. Сердцем она сызмальства

хворала. Дыхание у нее спирало, аж заходила вся. Только моей настоячкой и спасалась. А что померла, так я же и говорю, сердцем хворала. Сама того испытания не выдержала, какое для него сообразила. Сильно она его любила, это я точно знаю. Она женщина была — кремень. А он ровно и неживой. Без потрохов как бы. А она на него богу молилась. Как увидела, верно, в нем никакой души нет, так сердце у нее лопнуло. Не выдержало, значит. Девка — что? А ничто. Профессорша она теперь. И ему тоже, что сделается. Живет и живет. Как был с рыбьей кровью, так с ней и остался. Ну да ладно. Мертвое с мертвым — живое с живым. Светлая память!

ШТИЛЬ. ...С тех пор как Горячев вышел из больницы и Лиза жила у него в доме, видется с нею Великанову приходилось редко и урывками. Поскольку на работе Горячев безропотно пребывал консультантом в тени расцветшего Лизиного тщеславия, поощряемого повсеместно, как бы в дар за долготерпение, дома Николай Васильевич нередко учинял «маленькие тиранства», по выражению Володи и Лизы. Так, он категорически запрещал Володе почевать в его доме, когда образцовому супругу и отцу удавалось улизнуть из семейных недр под видом командировки в район от общества «Знание». Не разрешалось Володе также показываться на концертах с Лизой вдвоем, равно никто не приглашал его обедать к горячевскому столу, так что Володя часто и с добром вспоминал терпимость и такт Ивана Андреевича Дронова в его отношениях с бывшей супругой и ее спутником. Горячева Лиза с Володей не винили. Они были великодушны и жалели его. Жалели и покорялись.

Почему-то помнится один вечер. Для Володи все сложилось удачно. Горячев куда-то отлучился (не в «Горячевку», нет, теперь броня выпивохи ему была не нужна), и Лиза, очевидно, Володю звала. А потому, простившись с родными и собрав в порфель очки, авторучку, какие-то пап-

ки и бумаги, он торопливо вышел, сохраняя на лице выражение озабоченности, присущее человеку особо ответственно-му...

И намеченная встреча удалась. Надо полагать, их встречи не бывали неудачными. Много могла бы порассказать, наверное, горячевская терраса, на которой особенно любили уединяться эти двое в редкие счастливые дни, когда Горячев отсутствовал.

...В тот раз, как и всегда, наверное, на террасе горячевского дома немало повялось вполголоса планов и соображений, связанных со множеством первостепенных и второстепенных величин университетского улья. Не забыт был и старый Дронов, «которому вообще-то давно пора бы...» Так что проректором по учебной части вместо покойного Иннокентия Павловича Ефремова — золотой был человек! — ясно кому быть, «раз уж старый Дронов пока еще». и Володю привечает неизменно. О своих личных планах в тот раз Лиза не говорила. Возможно, она ждала, когда Дронову действительно уж «пора будет»...

От этой террасы к стоящему рядом внушительному университетскому зданию тянулись невидимые, но прочные нити. Это они, тайные нити, накрепко привязали Володю и Лизу не только к кафедральным креслам, — вот о чем я думала в тот окаянный вечер, стоя в сиреневых кущах около террасы, ненавидя себя. Я — не ошиблась.

Ибо приспело самое время обговорить «Дроновский момент». Никто, как известно, не вечен. А крепко «потреблявший» Дронов — тем более. Если бы — что, так ведь Лиза — ректор, не хуже него. Но, оказалось, Володя тоже считал, что по всем статьям на ректора тянет. Однако, не делить же им с Лизой между собой одно место! Раз учебная часть его не соблазняет, так общественная карьера — тоже никак не хуже. Скажем, по линии профсоюз, а? Или любой другой? Мало ли линий, которые так высоко возносят

человека, что никаким ученым степеням и званиям не дотянуться! — в сиреневые кущи голоса доносились приглушенно. Я уже не ненавидела себя, подслушивая. Стоит только начать — а там уж «дело персональной совести каждого», как говорит Митрофанов. Похоже, в ту пору избыток совести меня тоже не отягощал. Не раз стояла в тех сиреневых кущах у террасы. Только не всегда слышала, сколько бы хотела...

Так что не знаю, может, иные встречи проходили и не так. Но они, конечно же, всякий раз удавались как нельзя лучше. А жизнь вошла в нормальную колею, чередуя взлеты и поражения множества людей, втянутых во внутриуниверситетские вихрения, которые лишь косвенно касались меня, когда Володины дела шли на мажоре и он делился со мной сногшибательными планами. А поражений у него не бывало.

Пришло время, и Н. В. Горячев со всевозможными почестями проследовал в последний путь. Проект некролога составлял Володя. Он советовался со мной и напирал на «живую детальку», которой не хватало, чтобы придать тексту нужную сердечность. Он напирал на то, что «ведь ты-то его знала иным». Хотя, выходит, Горячева я вовсе не знала...

СБЕРЕЧЬ МИТРОФАНОВА. Сегодня вот думаю, неизбежная поляризация выдавала каждому свое, так что Лиза Юренева по сей день обитает в горячевской квартире вместе с бывшим моим Володей. Сейчас, когда такое внимание уделяется традициям, что где их нет — создаем, в университете ежегодно проводятся «Горячевские чтения». Не по астрономии, в которой золотой строкой вписано имя Н. В., нет, а по философии, в частности по воззрениям и Омара Хайяма, ибо бывший кружок «хайямистов» при «Литературном обществе», ныне переименованном в «Общество книголюбов», бытует по сей день. И еще устраиваются ежегодно «Дроновские семинары». Причем памяти Дронова неизменно радеет Лиза Юренева. Те-

перь она у университетского кормила. Хлопочет о мемориальной доске для «Горячевского дома». И, как слышно было, при нынешнем Володином положении — это не проблема. Тем более близится юбилейная дата — 125 лет университету.

А я — вот, сижу, перечитываю некую «историю болезни», которую пытаюсь составить, и сто раз спрашиваю себя — зачем? Ведь лечу же я в основном таблетками, вот уже сколько лет, изъязнены души, которые про себя старомодно именую бездушием... И еще в отдельную тетрадь записываю особо примечательные случаи из практики. Да и в личной моей жизни, не ахти богатой событиями, нет-нет, а случаются моменты, которые стоит запомнить...

Позвонила своему давнишнему пациенту, — да, впрочем, и другу тоже, — тому самому директору крупного предприятия, которого посещают сомнения нравственного порядка.

Вечером мы с ним встретились. Я спросила у него, изложив «случай Митрофанова»:

— А если бы вы лично узнали подоплеку обращения за руководителем-варягом, хотя свой, вот он, на месте?

— Уцепился бы, конечно, за тему да еще как. Заарканить еще один институт, — кто бы задумался?

— А Митрофанов? У него, между прочим, тоже одна-единственная жизнь!

— А нечего интеллигентничать, — надо было тех молодцов поприжать. Или выгнать. Что — прогул нельзя было состряпать?

Мы расстались холодно. Не о том он говорил. На следующий день он пришел ко мне:

— Не мог уснуть. Думал о Митрофанове. Вот вы все ищете «людей-злодеев», а борьба за лидерство — норма жизни. У Митрофанова вашего хватает же наивности воевать один на один с его прохиндеями, с Эрихманом, со всем светом. Он что — маленький? Я бы задачку решал на его месте не так. Предлагаю испытанный

путь: делай свое дело, и — под микроскоп их, под микроскоп, где у них там слабинка. Обнаглеют — рыкнуть. Удастся — куснуть. А потом — улыбка во все лицо. И между делом заготовить в ВАК письмишко. На случай, если этим молодчикам удастся все-таки сорвать защиту. И опять — балансные отношения. Просто ваш Митрофанов — неумеха. Ему при Менделееве жить...

Помню, я перестала его слушать. Меня трясло от гнева. А что, когда Горячев «уступил» Лизе доклад на симпозиуме, она ведь наверняка еще и изумлялась: такой чудак, ему бы при Ломоносове жить. И разве не обходили Горячева и она, и Дронов, и бывший супруг мой Володя, именно по предложенной только что схеме: под микроскоп его, где у него слабинка...

А между тем, сейчас — не Лиза, не Эрихман какой-нибудь предлагал рецепт. «Маяк», можно сказать, современной науки, на правах многолетнего общения и предельной открытости сторон, доверительно делился со мной тем, что вряд ли сообщил бы в очередном интервью. Он делился со мной единственно возможным, на его взгляд, методом обуздать... А что, собственно, обуздать, — спросила я себя, — время?

— Слушайте — объясните мне, наконец, в какое такое необыкновенное время мы живем, что только и слышишь: «что делать — такое время?» — вскипела я.

— А в такое, дорогуша, — невесело усмехнулся мой собеседник, — что борьба за научные идеи это вам не турнир. Знаете, один умный француз сказал, что в науке вообще никогда не побеждают новые идеи. Просто вымирают носители старых. Вот и надо, в меру пристойно, помочь их вымиранию. Расчищать путь, одним словом. А для этого — реальный взгляд на людей: у каждого свой ключик. Только успевай его подбирать. И крутануть — в нужное время. А до того — смотри сквозь пальцы. Для дела же... А вы гневаться изволите! — усмехнулся он. — Ведь я сразу оговорился. Я сказал, как

решал бы задачку на месте Митрофанова. На его уровне. Но никак не на моем. Для себя — у меня иные рецепты! — жестко, даже высокомерно заявил он. И помолчав: — Кстати, да будет мне позволено заметить, не слишком ли горячо вы воспринимаете дело Митрофанова? К сердцу не слишком ли близко берете? — и уже с оттенком давно знакомой мне проницательской лирики: — Хотя, что это я? За столько лет мне-то уж однозначно указано: просьба не стучаться — сердце отсутствует. И спохватился. В наших отношениях разговоры о его чувствах давно стали темой табу. Я так хотела...

— Ну, мир? — самым своим вкрадчивым голосом спросил он. — Допустим такой вариант: пациент дорожит вниманием врача, ревнует к другому пациенту, — все-таки не сходил он с тягостного витка разговора. И поскольку я молчала:

— Шучу, конечно. Все я понимаю. Только опыт показывает — никакого смысла ускорять события. Если хотите по большому счету — идеи носятся в воздухе, это аксиома. Ну, не Митрофанов, кто-то другой доделает то, что помешали сделать ему. Правда, наверное, много позднее. Поскольку Митрофанов уже жил и разрабатывал всюю. Но все равно — в свое время. Раньше времени кукарекнуть — головку рубанут. А чему надлежит быть открытым — открыто будет! — наука не в убытке. Митрофанов? Ну, это его вопрос... — не без злорадства закончил он разговор.

...Мой пациент был на подъеме. Он собирался в командировку в Штаты. Ему было не до нравственных ребусов, и тем более он не был склонен к сочувствию «бесчиновному» Митрофанову. К тому же, крохотная, а может, и не очень, доля истины была в этом его «пациент ревнует к пациенту». За много лет общения «такой вариант» возникал не раз. Очень представляю, как бы он обошелся с Митрофановым, «которому при Менделееве жить», попадись он на его победном пути...

И вот сейчас-то, именно сейчас для меня вполне отчетливо сформулировалось, что такое «синдром Горячева».

Столь знакомые мотивы начала НТР: никаких эмоций; единственный критерий — рациональность; «человек — дитя материи» бесстрастен и объективен как она, — только что Горячев чуть раньше сформулировал, и формулу довел до абсурда, это все отжило.

Горячев убежденно искал раскрепощения духа — освободился от души; а что же мой высоковознесенный пациент?

Еще несет в себе следы того самого «синдрома Горячева», когда, если уже душой поступился, так не о себе же, вроде бы о науке радел, — а «такое, знаете ли, время» уже влечет на стезю Эрихмана и компании?..

И мой пациент, бедняга, разрывается: ведь не себе, не для себя, для истины, для прогресса!

А внутри скребет все-таки: давно не для истины, и не для нее в первояд, и уж вовсе себе не в обход...

Вчера пошла проводить Митрофанова в кардиологию. Он стоял в вестибюле — небольшой, коренастый, и все-таки очень хрупкий, в синем отнюдь не сверхмодном тренировочнике. Почему-то подумала: а ведь мы с ним ровесники. И вспомнила — из его опроса: «сын полка», мальчишкой на войну сбежал...

Я не видела его с полмесяца и как бы заново разглядывала. Мне нравились его серые, жестковатые глаза, тонко очерченные красивого рисунка губы. Сейчас он показался мне очень одиноким, Митрофанов. Он как бы стоял один на один против устоявшихся ритуалов этого «знаете ли, времени».

А может, этот несовременный Митрофанов все-таки защищен чем-то для меня неведомым? Что-то же позволяет ему выстоявать, хотя бы против обволакивающей обходительности Эрихмана...

Митрофанов улыбался мне навстречу. Интересно, чему это он радуется, ему для улыбок вроде поводов никаких...

— Знаете, читал роман-газету, которую вы мне подкинули. Про жите-бытие какого-то НИИ. И такие в нем герои от науки — сердце пляшет. И открытия они вершат — запланированные. Поквартально. Причем исключительно под общие овалы. Я бы шариковые ручки пообломал у таких бодряков от литературы!

И взглянул на меня пристально, глаза в глаза. Тяжелый, гнетущий взгляд. Улыбки — как не бывало:

— Вы зачем принесли мне этот опус? Прибодрить? Вы-то как относитесь к эмпирейному варианту ученого? Какого цвета у него душа, у такого заслуженного деятеля открытий, как думаете?

...Не знаю, не знаю, как обстоят дела с душой передовичных корифеев. А вот с моей — неладно обстоит. Какой-то робкий, и все настырный росток — кто его знает чего, но все же поддается определению! — все более явственно проклевывается из забытых, казалось, глубин. Я уже сколько дней пытаюсь его загнать в недра былой дремоты: сишь, а он — ввысь!

Хайямов тюльпан, что бывает, растет из старых могил?

Он весь нравится мне, этот загнобленный Митрофанов, бунтующий против порхания «славных ребят» и их покровителей. Митрофанов, который, по словам его аспирантов, «словно всех выше». А что? Он и на самом деле — парит. Так, на волосочек от земли, а все-таки...

* * *

Чтобы отвести наваждение, спросила у него:

— Что это вы говорили вашим мальчишкам про «игру ума», что они прямо кипят?

Он рассмеялся:

— Ах, уже доложили? Ведь в чем их беда? Они разучились играть — слишком все взрослые. От науки ждут дивиденды. Себе лично и поскорее. Один сотрудник — я его в заявку на изобретение включил, для поощрения больше, поработал все-таки сколько потянул, расписался и

добавил: «Не согласен с процентом вознаграждения». Загодя. Сам про себя знал, что доля участия — не ахти, но верил: получить надо больше, чем дал. Я ему: «Вам интересно было работать?» «Интересно, — говорит, — только это вы к чему? Если интересно — так мне что, от себя приплачивать за полученное удовольствие?» Вот так они меня понимают.

— А знаете, про вас говорят, что вам при Менделееве жить, — попыталась я сбить Митрофанова с «больной точки» (вдруг рассмешу?).

И он действительно рассмеялся. Хорошо он смеялся — порозовел, откинул назад лобастую голову...

— Ну, и жил бы. Да еще как. Я бы себе в современники, конечно, Менделеева попросил — не Эрихмана же! — хохотал он. — Нет, вы представляете, что бы с нашим институтом сделалось, явись Менделеев и расскажи, что периодическую таблицу впервые во сне открыл. А что особенного? Просто постоянно подключенная интуиция. Кстати, слово, от которого наших институтских трясет, считают отжившим понятием.

Я слушала и вспоминала, как его аспиранты показывали мне блокнот, который стянули с его стола.

...В блокноте — почерком летящим, как бы догоняющим мысль, — заметки. Видно, с какого-то представительного форума, потому что мелькали громкие имена. Беглые зарисовки выступающих — чья-то массивная шишковатая голова, чей-то соколиный настороженный профиль, у кого-то по-кошачьи встопорщились усы, а у кого-то — обиженная зверушечья мордочка. И к зарисовкам — комментарии. Вперемешку с формулами: «Говорит затрудненно. Слышишь, рождается мысль». Или: «Дергунчик, копеечный результат, список методов — роскошь; найти — не нашли, зато во как поработали!»

Представляю, как «славные ребята» в поисках меценатов без колебаний используют такие митрофановские записки,

точно вычислив, чьи и какие струны зазвучат ответно.

Митрофанов же увлекся, шутил. А дела его — хуже некуда. Эрихман, тот не пощадит. Не сам — чужими руками изведет. Сжуют его эрихманы, вроде и не ведая, что творят. «По объективным причинам». А на самом деле, еще как свирепо ведая...

Мне захотелось окликнуть Митрофанова, вернуть к не очень отрадной его ситуации, где вовсе не интеллект — совсем иные качества решают исход схватки.

Захотелось назвать его по имени. Но все звали его просто Митрофанов. Так повелось. Как-то не получалось у меня: Григорий Александрович. Но — не Грися же, в самом деле, — одернула я себя.

...А—будь он неладен, мой «железный корсет», из которого чуть не четверть века и не высовываюсь.

Я взяла его за руку. Смятенно ощутила родственность его кожи, прохладной, чуть влажной.

— Может, вам уйти из этого института?

Он взглянул на меня чуть высокомерно:

— Считаете, не слажу? — недобрая складочка легла у губ. Подумал — я его жалею. И тут же досадливо: — Скучно, право, все окриком! А не поможет — премией. Мне их увлечь надо. Запастись терпением — и увлечь. Время их обгоняет, а как нагнать — не умеют. И суетятся. И хамят. Знаете — развязность у застенчивых...

— Интересно-то как получается! — вспыхнула я. — Они считают — вы от времени отстали, а вы — что им времени не догнать...

— А это как считать, — всколыхнулся Митрофанов. — По моему отсчету — время сейчас ускоренной оборотности. А они ничего предложить не могут — не для отчета сделанное и не за премию. Вот в искусстве вдохновение — никто не оспаривает. А в науке? Многие позади машины бегут. А прибор — как для художника кисть. И мои молодцы ждут — когда

за них кисть картину напишет. От машины чуда ждут — не от себя. А в науке «не доплатишь» — не найдешь! — брезгливо поморщился он.

— Ну, ваши-то молодчики, положим, доплачивать не станут, — вспомнила я беседу со «славными ребятами» про ринг, именуемый наукой.

— Думаете, мои архаровцы совсем без понятия? — будто даже обиделся Митрофанов. — Все они понимают. Потому и суетятся — смотреть жалко...

— Вы что, еще их и жалеете?

— А что их не пожалеть? Время — «справедливый человек», — озорно, но без большого добра усмехнулся Митрофанов. Григорий Александрович. — Оно ведь такое, — отринет и не оглянется...

— А довели-то все же они вас! — погладила я его руку с сухощавыми нервными пальцами, поросшую золотистыми волосками. Погладила с опаской, как и давеча, вдруг отнимет, спугнет волшебство. На что Митрофанов, похоже, не обратил никакого внимания. Так что мне стало даже немножко обидно. Но он был на другой волне. Он думал про своих «архаровцев».

— Ничего, дело терпения! — заверил он меня, продолжая тему. — Я — терпеливый. А впереди — вечность.

Шутит, значит. На мгновение приоткрыл завесу и ускользает. Как внутрь брони. Его обманчивая мягкость давно меня не обманывает.

Рука его невзначай и робко легла на мою. Он виновато улыбнулся. Похоже, он боится до меня дотрагиваться. Мы шли по больничной аллее, так и держась за руки. У ворот Митрофанов показал мне старые карагачи:

— Смотрите — распятые деревья! — с детской обидой в голосе.

...Кто-то когда-то посадил деревца. А потом другой кто-то поставил около них ограду, никак не задумавшись, куда им расти, деревцам? И острия оградных штырей как бы впились в плоть карагачей.

— И все сделали как надо. И, конечно же, отчитывались по форме! — язвительно улыбнулся Митрофанов. — Только без души делали. Сугубо по инструкции. В руках с линейкой. А вы говорите — зачем игра ума...

Опять шутит. Смешливо дрогнула едва заметная ямочка на крепком округлом подбородке. Мне даже досадно стало. С сердцем у него — не позавидуешь.

Литературные герои его волнуют, карагачи распятые. Как будто не его самого в штыри взяли. Как будто не его по всей форме — и не придерешься! — со всех сторон обошли. И не теснят — колют насквозь.

— А с виду — ограда стоит себе и стоит, только карагачи дышат ли? — возмущался Митрофанов. Я слушала его северный говорок, его «курлыкающий» голос, про себя отметив, что так он говорит со мной лишь с недавних пор, при первых встречах говор был иной: безукоризненная дикция и звонкость металла. Доверяет? Расслабился?

Мимо пробежала черная лохматая собачушка, увидела Митрофанова, привычно заластилась. Повалилась на спину — глаза закрыты, на морде блаженство. Он трепал ее за уши и что-то рассказывал про боничных собак.

...Вечность у него впереди. Пусть, мол, его другие догоняют. Его, которому Менделеев — современник. Ему бы из этой коллизии выкарабкаться. Живым.

* * *

От Митрофанова шла домой пешком. Остро ощущая свою одинокость. Да что — одинокость. Впервые за многие годы ощутив бесплодность предшествующей поры. Утеранных двадцати лет, в которых не было Митрофанова. Недоумевая как все эти годы без него прожила. Без его жестковатого взгляда. Лучезарной улыбки. Без его родственной мне сухощавой руки.

Так и уснула в недоумении, коря себя за слабину в «железном корсете». Как было сказано — «сердце отсутствует».

Итак — «больной Митрофанов»... — пыталась я себя урезонить, но «железный корсет» трещал по швам. Душа в него не записывалась, душа, закусив удила, мчалась невесть куда, в радужный сон, где я почему-то барахталась в облаке из мыльных пузырей...

...А сейчас вот достала с полки ларец. Принялась перебирать архив горячевской поры. Полистала отцовскую книжицу. С ее страниц на мгновение всепонимающе глянул на меня Хайям.

Горячев же словно исчез. Самоустранился Горячев, высокомерно избегая каких-либо ассоциаций. Тем более — сравнений. Потому что не к нему — к Митрофанову бы выйти навстречу той девочке военной поры. К Митрофанову, который остался там, на больничной аллее. Небольшой, плотный и все же такой хрупкий, Митрофанов в своем дешевеньком

совершенно новом тренировочнике, может, специально купленном, чтобы в больнице выглядеть «в хорошей форме», стоял около распятых карагачей и смотрел мне вслед. Нет, ничего, он не «парил». Напротив — стоял незыблемо. «Аки на камне»...

Ларец оставляю на столе. Открытым. Потому что, похоже, не одну-не две страницы еще впишу в недавно начатую мною тетрадь. Только где теперь отыскать те слова, что в пору былых смятений так торопливо, так мятежно рвались из-под пера, жгли губы. Чтобы сказать их Митрофанову. Чтобы он захотел их услышать. «Лишь бы он захотел их услышать», — твержу как заклинание.

Впрочем, что слова?

Сберечь, сберечь Митрофанова — вот что важно сейчас...

1972—1984

Алма-Ата, Томск, Кемерово



Валерий Ковшов

* * *

Я родился и вырос в деревне,
где хватает всемирных забот,
где живет-поживает издревле
работящий и добрый народ.

Он кряхтит, багровеет, но тянет
вековую отсталость в прогресс,
где поставит последний крестьянин
над проклятой отсталостью крест.

Крест тебе, золотая избушка,
на закате счастливого дня!
Крест тебе, вековая старушка,
что так славно сидишь у плетня!

Вот вам крест, похороним,
как надо,
нашу память, разбитую в пыль,
а грядущим детишкам в награду
сочиним и легенду и быль.

* * *

В. Махалову

Как хочется порою быть похожим
на ясный день и стать таким,
как все,
а еще лучше — деревом пригожим
или травой в мерцающей росе.

Ходил бы рядом воздух небу равный
и улыбался ангельский ручей,
и среди них, родной и полноправный,
встречал я звуки музыки ничьей.

Но нет для слуха музыки заветной,
и разум тмит гигантский нямрек,
и скрыта тайна радости
бессмертной —
и я, пока, ей чуждый человек.

ВЫБОР

Выбирают дорогу на суше
беглый взгляд и стоячие уши,
острый нюх и сверхпамять
инстинкта —
баснословные силы реликта.

Выбирают дорогу в пространстве
только разум в союзе и братстве
с той судьбой, что всегда роковая,
с той мечтой, что почти мировая.

д. Красный Ключ



Галина Золотайна

МАТЬ

Белье постелешь на диван
Как гостье — новое,
А мне невзрослые слова
Приходят в голову.

Привычно заправляешь суп —
Слеза от луковицы,
А у меня по-детски с губ:
«Я буду слушаться!..»

Как будто мир на том стоит
И не разрушится,
Покуда мудрых слов твоих
Я буду слушаться.

* * *

Кто мы, милый, с тобой,
Журавли иль синицы?
То мне снится журавль,
То синица мне снится.

И тебя по ночам
Тот же сон навещает:
То синица грустит,
То журавль улетает.

Утром правду о нас
Знают солнышка блики:
На крыле журавля
Голова журавлихи.

ВОЗОК

Шел по городу сена возок,
Мужичок накосил для скотины,
И дорогу ему поперек
Без конца разрезали машины.

Он нестрашен был и невелик
И облаян был каждою шавкой,
Шел возок, не спеша, как старик,
Как большая туркменская шапка.

Мужичок на вершине возка
Восседал на виду у проспекта,
Кто с балкона жалел мужика,
Кто его презирал —

«частный сектор»!

Мужику наплевать на зевак:
Не себе же косил по низинам.
Лишь один озадачивал факт:
Не пропахнет ли сено бензином?

* * *

Я опять, междометствуя, окаю,
Мне опять мелкотемно лепечется.
Я пишу про селение Мохово,
А какое же это Отечество!

Мне бы голосом слиться с эпохой,
С беспредельностью

и бесконечностью,

Хоть и нравится мне это Мохово,
Но какое же там Человечество!

Я, наверное, дура-дурехою,
Если вот во что все это вылилось:
Поругалось со мною пол-Мохова,
А пол-Мохова молча обиделось.

г. Ленинск-Кузнецкий



Участник областного семинара
молодых литераторов

Надежда Ма Динь

* * *

Дни идут в осенней стыни,
Обманув земным покоем.
Нежность яростной полыни
Бродит горести настоем.

Не тобою ветер плачет,
Не тобою он смеется,
Не с тобою в этой жизни
Мне неласково живет.

Отзовутся старой болью
Десять лет моих уставших:
Нет на свете горше доли
Жить, как без вести пропавшей.

ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ

Украла я чужое счастье
В ночи под шепот сонных трав,
Под бормотание ненастья, —
Как будто спрятала в рукав.

Хоть пальцы жгло и опалило
Его мерцающим огнем,
Но счастья тень отдельно стыла,
Души касаясь холодком.

Я спрятала его поспешно
Под неприметною сосной.
С тех пор я знаю:
«Все мы грешны
Под этой вечною луной».

* * *

Сон, как будто в руку, — вещей, —
Вдруг напомнит голос твой.
Ни одна звезда не блещет,
Не приносит мне покой.

Захочу — и не увижу
Береженный сердцем сон,
Захочу — и не услышу
Шорох створчатых окон...

Но в ночи глаза открою,
Буду молча вспоминать.
Тишина сама порою
Помогает горевать.

Николай Колмогоров

НА ГОРЕ, НА КОСОГОРЕ...

ОЧЕРК-ПОВЕСТВОВАНИЕ

На северо-западной окраине барзасской тайги, в стороне от больших дорог, в глубокой впадине между лесистыми и пащенными склонами с незапамятных времен затерялась глухая чалдонская деревушка Подиково. Здесь, как и всюду в таежных деревнях, названия которых говорят сами за себя — Хмелевка, Таловка, Еловка, — проживали хлебопашцы и скотоводы, охотники и пчеловоды, смолокуры и корзинщики. Великими трудами отвоеванные у тайги пашни и покосы давали им хлеб и мясо, молоко и масло, одежду и обувь и многое другое. Впрочем, давали далеко не всем одинаково: кому-то две крошки на ложку, а кому-то ни одной. Лучшие угоды принадлежали наиболее крепким, зажиточным хозяевам, которые так или иначе держали всю деревню в кулаке.

...С приходом Советской власти пришла и в таежные селения новая жизнь, и с чьей-то легкой руки стала старая деревушка со временем называться Ново-Подиково. Эта приставка к прежнему названию символизировала собой полное обновление деревни. Вместо ветхой маленькой часовенки, стоявшей когда-то посреди узкой, непомерно грязной улочки, и кулацкой питейной лавочки появились кооперативный магазин, школа, клуб, медпункт, колхозная контора, скотные и машинные дворы и другие объекты сельскохозяйственной артели. Вековечную темень и

глушь, тараканью тишину разбудили и осветили чудо-лампочки Ильича и радиоголоса из далекой-предалекой Москвы да рокот невиданных доселе железных коней на полях. Чуть не в каждой избе в переднем углу на полочках, любовно прикрытых самодельными кружевными скатерками, появились стопки первых книг. Деревня в те годы была «напичкана народишком до предела — каждая изба, будто добрый улей с пчелами». Колхозный клуб долгими зимними вечерами, бывало, ходуном ходил от переполнявшей его молодежи...

Ударная волна разразившейся где-то далеко великой войны докатилась и до сибирских селений и больно ударила по ним. Деревня вскоре и надолго обезмужела, осиротела. Как ни бились в войну и после нее солдатские вдовы со своими детьми, как ни тужились инвалиды-фронтовики, которых можно было сосчитать по пальцам, прежнюю силу колхозу вернуть не удавалось. Тогда и решили оставшиеся колхозники присоединиться к соседнему совхозу, центральная усадьба которого находилась более чем в десяти километрах, в селе Бараново. И стало Ново-Подиково одной из заурядных бригад этого большого хозяйства, взявшего под свое крыло добрую половину всех деревень в районе, таких же ослабевших, надорванных войной.

После присоединения к совхозу начала

деревня снова оживать. Подросли и обзавелись семьями дети не вернувшихся домой фронтовиков, появились и новые люди. Новоселов привлекали богатства тайги, красота и приволье здешних мест. Один воздух чего стоит! Настоенный на пихтовой хвое и березовых почках да на лесном и луговом разнотравье, насыщенный благоухающим ароматом цветущих черемух, рябин и калин, он распирает грудь живительным бальзамом. Живи, радуйся и трудись в меру сил!

Чтобы закрепить народ и завлечь сюда побольше переселенцев, руководство совхоза во главе с директором Иваном Григорьевичем Ефремовым затеяло в начале 50-х годов большое строительство. И вот за речкой Подиковой, которая отграничивала деревню с ее пашнями и огородами от таежных дебрей, прорубилась сквозь пихтовые чащи и протянулась по горе новая прямая и широкая улица из добротных бревенчатых домов с подворьями, насаждениями и огородами. Дивной новинкой для бывших колхозников явились начатые шефами из городов работы по сооружению водопровода.

На страшную глубину продырявили гору, установили насос и начали качать из-под земли воду, чтобы впредь бабам не таскать ее от речки на себе, а принимать дома. Однако трубы к домам проложить не удалось, — то ли смена совхозного руководства помешала, то ли еще что. Но водоколонка на таежной горе действует и по сей день, и за то спасибо. А еще говорят, была у директора Ефремова мечта: хотел он всю старую часть деревни из глубокого лога перетащить сюда, на гору, где посуше и грязи поменьше. Но, увы, не свершилось задуманное. После него уже никто из совхозных руководителей благоустройством в деревне не занимался.

...К середине 60-х годов в Ново-Подиково перебрались из соседнего района супруги-учителя Никифор Никифорович и Антонина Ивановна Кубылинские, которые с тремя детьми обосновались в пу-

стовавшем доме на таежной горе. Современем новоселы так притерлись к здешнему обществу и так «вписались в местный пейзаж», что деревню без них уже и представить стало невозможно. Их домик с белокорыми березами и калиной под окном да черемухой у калитки на фоне темно-зеленого пихтача выглядит приветливо и гостеприимно. Во дворе и огороде темнеют косматыми боками припорошенные первым снегом внушительные скирды душистого лугового сена. На деревьях и на шестах, раставленных мачтами по подворью, маячат в ожидании вестников весны потемневшие от ветра и дождей скворечники, которых тут наберется, пожалуй, десятка полтора. При виде такой картины невольно приходишь к мысли, что живут здесь добрые и трудолюбивые люди, которые, несмотря на свое интеллигентное положение, не гнушаются никакой крестьянской работой, что они до самозабвения влюблены в нашу сибирскую природу, и, конечно, любят жизнь, людей. К этому они приучили своих детей, а после внучат, а также многие сотни тех мальчишек и девчонок, для которых были первооткрывателями в волшебный мир знаний.

Однако не одними красными углами своего дома да пышными пирогами жив и славен настоящий человек. Славен он, прежде всего, конечно, делами и своим отношением к миру. Общеизвестно, что нигде и никогда так глубоко и ярко не проявляется его характер, натура и мировоззрение, как в беде или при других труднейших обстоятельствах, касающихся не столько лично его самого, сколько окружающих его людей и в целом общества. А горести и беды, как правило, случаются неожиданно и всегда, как нам кажется, в самые неподходящие моменты. Так случилось и в ту, теперь уже далекую, но памятную зиму.

...Первым январским морозным днем в доме супругов-учителей, что не так давно поселились на таежной горе, с утра продолжалось шумное семейное торжество по

случаю двойного праздника — встречи Нового года и свадьбы. Столы, как водится, ломились от всевозможных яств, в адрес жениха и невесты, а также их родителей то и дело сыпались обычные в подобных случаях поздравления и пожелания. Хозяйка дома — дородная женщина с милостивым лицом, сбилась, подавая на столы все новые блюда. А как же иначе, ведь сегодня женится их старший сын.

Короток зимний день. Не заметили, как на деревню опустились холодные сумерки, из-за зубчатой черной стены леса на потемневший небосвод выплыл серповидный конек блескучей луны, а вокруг нее вспыхнули первые звезды. Никто и не думал расходиться.

И вдруг, словно гром среди ясного неба:

— Пожар! Школа горит!..

Все оцепенели.

Первой пришла в себя хозяйка. Отшвырнув поднос с закусками, она с громким возгласом «Все за мной!» ринулась во двор, на ходу набросив на себя чей-то полушалок и фуфайку. Следом за нею, сметая с дороги стулья и скамейки, даваясь в дверях, бросилась на выход вся свадьба. По пути люди заскакивали во дворы, хватали все, что могло пригодиться на пожаре и бежали во всю мочь — одни к водоколонке, другие — к речке, а от них с наполненными ведрами, перегоняя друг друга, спешили навстречу зловещему зареву, которое росло и ширилось, охватывая багровым светом всю улицу, окрестные леса и снежные сугробы.

У школы, крыша которой была уже охвачена пламенем, растерянно и бестолково суетились люди, прибежавшие из соседних домов. Во дворах тревожным лаем захлебывались собаки, ревели скотина, и вот уже заголосили некоторые хозяйки, а за ними и дети. Все испугались страшной неотвратимой беды — пламя грозило перекинуться на ближайшие постройки, и тогда прощай вся улица.

Но вот решительно и властно растолкав толпу, на круг вырвалась женщина. На

ее бледном лице засверкали гневным яростным огнем глаза, заиндевевшие пряди волос выбились из-под полушалка. Вскинув над собой руки с крепко сжатыми кулаками, она громким голосом, перекрывая шум пожарища и людской гомон, обрушилась на собравшихся:

— Чего рты пораскрывали, цирк смотреть пришли? (Тут уж было не до деликатности.) Или все сгореть хотите? Огонь заливать надо, имущество спасать!

С этими словами женщина, потуже стянув на груди концы полушалка и запнахнув фуфайку, оттолкнула в сторону какого-то зеваку и бросилась в проем разбитого окна, из которого валом валил черный едкий дым. За ней последовали другие.

Той смелой женщиной оказалась хозяйка неожиданно порушенного застолья, Антонина Ивановна, учительница начальных классов местной школы.

Школу слабыми деревенскими силами отстоять не удалось. Но ценное имущество, в том числе киноаппарат «Украина», которых в то время во всем районе было не более трех, спасли и распространение пожара предотвратили. А до конца каникул оставалась лишь неделя. Заведующий районо, прибывший в деревню вместе с другим начальством, расследующим причины пожара, предложил перевести учащихся для продолжения учебы в школу соседней Усть-Хмелевки. Директор школы и учителя, находившиеся в шоковом состоянии, удрученно молчали.

— Ближний свет Хмелевка, чуть не десяток километров, — подала голос все та же учительница Антонина Ивановна. — К началу занятий мы здесь подготовим помещения, — к немалому удивлению всех, заявила она. — Классы разместим в интернате, а его временно переведем в пустующий дом.

Заведующий засомневался: кто же возьмется за такое срочное дело, когда рабочих рук и без того нехватка? Да и не успеть...

— Сами возьмемся и должны успеть, — окинув взглядом своих коллег и надеясь на их поддержку, заверила Антонина Ивановна.

Так и решили. А практическое руководство всеми делами по переоборудованию помещений возложили на Антонину Ивановну.

— Свои организаторские способности вы уже достаточно проявили, — сказал, обращаясь к ней, заврайоно. — Вам и карты в руки...

В тот же день Антонина Ивановна собрала школьных техничек, ребят-старшеклассников, их родителей, а также и учителей, и вместе с ними, засучив рукава, горячо взялась за дело: белить, красить, штукатурить. И, кроме того, ей, уже далеко не молодой, одновременно пришлось выполнять и хлопотные обязанности руководителя ею же созданной бригады, члены которой шутя окрестили ее прорабом. А новоиспеченный «прораб» не тупея: смахнет пот с разгоревшегося лица и, оставив ведро с краской или известью, спешит к тому, у кого что-либо не клеится: расскажет, покажет, ободрит шуткой, а то и крутым словом так отбреет нерасторопного, что тот только почесет затылок да так возьмется за работу, что все восхищаются... Чуть не сутками работала бригада, воодушевляемая Антониной Ивановной, и вот 15 января, как и было обещано, в школе возобновились занятия. Забегая вперед, скажем, что некоторое время спустя, внизу, за речкой, вместо сгоревшей деревянной школы будет построена новая, кирпичная.

Жизнь в деревне потекла своим чередом. Однако селяне еще долго обсуждали недавнее событие и восторженно отзывались об Антонине Ивановне, удивлялись ее поведению.

...Прошли годы. Отбелился лен на светлой голове нашей героини, облетела шевелюра на голове Никифора Никифоровича, мужа Антонины Ивановны, деда Кима, как называют его внуки.

Супруги успели уйти на пенсию, разлетелись из родного гнезда их дети, а также и последние выпускники школы. Разлетелись не потому, что не любили свою деревню и землю, что плохо прививали им эту любовь их наставники-учителя и родители.

Причины тут разные, а главная из них — отсутствие у вчерашних школьников моральной заинтересованности в дальнейшей, теперь уже самостоятельной жизни на селе. Каждый из них, видимо, размышлял примерно так: «Стоило ли в течение восьми-десяти лет грызть гранит науки, чтобы потом на ферме понть, кормить и доить коров вручную, орудия вилами или лопатой, копаться в навозе?»

В школе ребятам довольно усердно внушали, что в сельском хозяйстве крайне необходимы грамотные, всесторонне развитые люди, потому что труд на фермах, как и на полях, будет механизирован, а со временем даже автоматизирован. Но когда это еще будет, а пока что все трудоемкие процессы в животноводстве в их деревне выполняются дедовскими способами, отчего у матерей не перестают болеть руки, а у отцов то и дело отнимается спина.

Единственное, что в какой-то мере привлекает некоторых ребят, — это профессия механизатора. Однако у механизатора, что и у животновода, свои специфические «прелести»: вечно он грязный да в мазуте, ходит в промасленной фуфайке. По-хорошему, тому и другому после работы не мешало бы принять душ или ванну, но это пока что несбыточная мечта.

Ну да ладно, как-нибудь привели бы себя в порядок молодые люди, переоделись в выходное платье, на ноги — модные туфли или босоножки — и айда в клуб, либо просто по свежему воздуху прогуляться, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Но не тут-то было — по деревне, особенно по старой зареченской улице не то что в туфлях — в резиновых сапогах трудно, а порой и небезопасно

пройти: во всю ширину улицы, от забора до забора, грязи по колено, рытвины да ухабы. И как только умудряются ходить здесь доярки? И ведь им-то по три раза на день приходится курсировать из дому на ферму и обратно. Днем-то еще сносно, потому как видно, куда поставить ногу, а вот утром, когда ни свет-ни заря спешат они на первую дойку, и вечером, когда, управившись с делами, возвращаются домой, в крошечной темноте ни зги не видать.

Чтобы не ухнуть в какую-нибудь промону, приходится пробираться ощупью, держась за забор, так как никакого освещения на улице, разумеется, нет. Тут хотя бы какой тротуаришко проложить (вон лесу-то кругом сколько! Всю дорогу замостить можно). Но где там! У совхозного начальства и без того забот невпроворот: как бы всякими правдами-неправдами план вытянуть. Тут уж не до роскоши.

— Выучили белоручек на свою голову, — ворчит, бывало, бригадир, провожая недобрым взглядом вчерашних школьников, несостоявшихся доярок, уезжающих в город. — Никому неохота в навозе копаться, а молоко, масло и мясо всем подавай... Жили же как-то раньше, работали люди, как кони, и никаких привилегий не требовали...

Да, действительно жили и трудились в полную меру сил при любых, даже порою невыносимых условиях. Как говорится, «жили в лесу и молились колесу», дальше деревенской поскотины нигде не бывали и о другой жизни не ведали. А теперь иные времена.

Вот и разлетелись бывшие выпускники кто куда. Не сразу это произошло, но год от года все меньше оставалось молодежи в деревне, а значит и рабочих рук на ферме. А тут еще масла в огонь подлили слухи о том, что ново-подикувскую бригаду как маломощную должны расформировать. А раз так, то и деревня-де долго не продержится. Подобные разговоры были не беспочвенны. Давно уже расстались с родными местами последние жители

соседних Горевки, Шалева и Бобровки. То же самое ожидало и Ново-Подиково, и свершилось бы непоправимое, если бы не помешали люди, общественность.

Когда Антонина Ивановна спустилась с горы к магазину, похожему скорее на небольшой амбар или сторожку (бывший кооперативный магазин давно обветшал), ее обступили толпившиеся здесь люди.

— А вот и наш женсовет! — воскликнула одна из пожилых доярок. — А мы как раз к вам собирались...

— В чем дело? Неужто до сих пор хлеба не подвезли или опять плохой выпечки?

— Да нет, с хлебом-то сегодня все в порядке, — возразила женщина. — А вот завтра могут и вовсе не привезти...

— То есть, как это «могут не привезти»?

И женщины наперебой начали рассказывать о случившемся.

— Вы — председатель нашего женсовета, а муж ваш — селькор, известный в районе человек. И вот мы просим вас всем миром: помогите устранить несправедливость... Мы, то есть старые и все прочие, всю войну на себе вынесли и после войны тянулись изо всех сил, работали не покладая рук за двоих и за троих, а начальство наше, вместо того, чтобы как-то облегчить нам труд, угнали наших коровушек на центральную усадьбу и нам предлагают перебраться туда же... Неужто и нашу деревню, как и другие, прикроют?

— Бумагу надо писать, заявление в газету, — подал голос молчавший доселе бородатый скотник. — Пусть Кубылинский и напишет, да похлеще, а мы все подпишемся...

Антонина Ивановна внимательно выслушала людей и постаралась их успокоить, убеждая, что «закрыть» деревню никто и никому не позволит, а перевод дойного гурта в другую бригаду — это, видимо, какая-то ошибка, которая несомненно будет исправлена...

До конторы совхоза, равно как и до исполкома сельского Совета не так далеко, но добраться до них из-за бездорожья и отсутствия транспорта не просто, а зачастую и невозможно. Про районные и областные органы и говорить не приходится. А дом учителей вот он, под боком, это самая ближайшая инстанция. Еще с тех самых пор, как в нем поселились супруги-учителя, стал он для селян чем-то вроде юридической консультации. Особенно зачастили сюда люди после того, как Антонину Ивановну избрали председателем женсовета, а ее мужа несколько лет спустя — председателем товарищеского суда, а еще позже — и председателем совета трудового коллектива. Какая бы беда или нужда ни приключилась, люди в первую очередь идут к ним за помощью, за советом, и не бывало такого, чтобы учителя сказали, что это их не касается.

К тому же Никифора Никифоровича не только в районе, но и в области издавна знают как активного селькора. Его корреспонденции нередко публиковались и публикуются в районной, в областной газете. Новости из безвестной сибирской деревеньки за подписью Н. Кубылинского иногда печатались и в центральных газетах. И если собрать воедино все написанные им в разное время и опубликованные в печати или переданные по радио корреспонденции, то получится препорядочный том своеобразных коротких сочинений, в которых отражена почти вся многогранная история села за последние более чем полвека. А сколько других добрых дел им переделано, которые и делать-то никто не обязывал, разве только тогда, когда избирался он в депутаты сельского Совета. Но, по его глубокому убеждению, для того чтобы служить своему народу, необходимо быть избранным в какой-либо орган.

Вот и сейчас, узнав о случившемся, Никифор Никифорович посоветовался с женой и направился пешком на центральную усадьбу в Бараново, чтобы выяснить там все обстоятельства дела. Для

человека преклонного возраста подобная прогулка не из легких, однако ему не привыкать, всю жизнь меряет он проселочные дороги. Раньше, когда был помоложе, по словам Антонины Ивановны, чуть не каждый выходной пешком шастал в райцентр. То ему в районо на совещание или семинар надо было успеть, а заодно в редакцию по своим сельковским делам заглянуть, то по чьей-либо нужде наведаться в райсобес и другие отделы райисполкома. Самим-то селянам или недосуг, или не знают они, куда и как обратиться, на какой закон при случае сослаться. А он — за всех добровольный ходатай. И сорок километров, бывало, для него не расстояние. Наденет свои кирзачи, бумаги — за голяшку и пошел... Так вот и мотается всю жизнь по чужим делам и заботам... Сетует жена на мужа, а сама будто и вовсе не такая. Всего-то и разницы, что ей приходится крутиться по тем же «чужим» нуждам только в пределах своей деревни.

Заглянув в дирекцию совхоза, а оттуда в сельсовет и не добившись результата, Кубылинский, не теряя времени, тем же пешим порядком махнул напрямик на Курганку (пригород Березовского), а оттуда автобусом на Кемерово. В городе он обошел почти все районные и областные инстанции и всюду с присущей ему горячностью упрямо доказывал нецелесообразность ликвидации животноводческой бригады в Ново-Подиково. Говорил, что это повлечет за собой и ликвидацию старой, далеко не маленькой деревни, которая за годы Советской власти не однажды обновлялась. Уж какой ни была она ослабленной за период войны, когда казалось, что дни ее были сочтены, однако, несмотря ни на какие трудности и утраты, деревня выстояла и после войны приросла новой улицей. Тогдашнее руководство совхоза нашло силы и средства для такого строительства. Все это было сделано для людей, в интересах совхоза и государства. Так почему же сейчас, четверть века спустя, все то, что великими

трудами и при немалых затратах было создано за первые послевоенные годы, вдруг обесценилось? Рабочих рук на ферме нехватка? Но не слишком ли высока цена за такой выход из создавшегося положения? Надо же хоть немного думать об улучшении условий труда и быта людей. Ведь они, эти условия, остаются все такими же, какими были четверть века назад...

Немало других убедительных аргументов в защиту деревни было приведено селькором на приемах у руководящих товарищей всех рангов. И восвояси он возвратился, можно сказать, не с пустыми хлопотами. Вскоре на ферму пригнали гурт молодняка крупного рогатого скота для откорма. И вчерашние доярки пошли в качестве скотников обслуживать этот молодняк. Разговоры о «закрытии» деревни прекратились, но, увы, ненадолго...

Как снег на голову, свалилась другая печальная новость, встревожившая всех — закрывается школа. Причина — недостаток учащихся. Прикинули — семьдесят ребят школьного возраста набирается. А семеро из них — дети телятницы. Алисы Николаевны Лобовой, которая после окончания вечерней школы продолжает без отрыва от семьи и производить учиться в сельскохозяйственном техникуме, решив стать зоотехником. Но где теперь будут учиться дети телятницы, неизвестно. Всех в интернат на центральную усадьбу определять нет резона — не набегаетесь туда, да и некогда матери бегать по чужим деревням. Один выход — всей семьей надо перебираться туда, только вот не больно-то легко оставлять родную деревню...

Слабыми деревенскими силами школу отстоять не удалось... Никакие хлопоты и никакие резоны тут не помогли. Светлые окна большого школьного здания (единственного кирпичного в деревне) наглухо забили грубыми досками.

Последнее событие по своим последствиям оказалось, пожалуй, пострашнее уже забытого злополучного пожара. Се-

мьи с детьми школьного возраста начали сниматься с насиженных мест: одни переехали на центральную, другие — в села соседнего района, а кое-кто и в город. Супруги-учителя пытались было как-то воздействовать на селян, убеждали их, чтобы не покидали деревню, но в ответ слышали одно: «Вам-то хорошо говорить, вы своих детей выучили. Наши тоже хотят учиться и жить при доме, при нас, а не где-то в интернате».

Что на это скажешь? Старший сын Кубылинских и его жена, работавшие также преподавателями, были переведены в школу села Колмогорова, что в соседнем районе, на берегу Томи. Туда же переехала и дочь, только что окончившая пединститут и вышедшая замуж. Дети уговаривали родителей последовать за ними, но те категорически заявили, что не оставят деревню до тех пор, пока стоит здесь хоть один дом...

Малоллюдно и тихо стало в деревне. Молчат многие опустевшие дома, не светятся вечерами их заколоченные окна. Молчит лес на таежной горе. Лишь изредка пророкочет трактор, подвозящий к ферме корма, да взбредет в чьем-нибудь дворе собака, испугавшись непривычной тишины. Но тишина эта относительна, она таит в себе немало неожиданностей. Вот бредущий поздней ночью от своего дружка пьяный скотник загорланил на всю округу несуразную частушку:

— На горе, на косогоре, под горой табак растет...

— Сейчас опять фордыбачить начнет, — заметил старик, вышедший на улицу за очередной охапкой дров. — А завтра нашему женсовету снова будет работа.

И точно, вскоре из ближайшего двора донеслись крики, стук и грохот, пронзительно завизжала побитая собака, сполошно откликнулись в разных концах другие дворняги.

Утром Антонина Ивановна постарается заставить дома вчерашнего «героя», пока тот не успел опохмелиться, и прочтет ему,

как положено, нотацію, пристыдит при жене и детях. Глядишь, тот хоть на какое-то время «прижмет хвост». Но уж если это не поможет, тогда председатель женсовета попытается воздействовать на упрямца при помощи товарищеского суда. А подвергнуться разбору на этом суде под председательством Кубылинского для пьяниц и прогульщиков страшнее всего: мало того, что высмеют да осрамят при всем честном народе, могут и на «курорт», в этот самый ЛТП, спровадить, тогда вовсе хана. Недаром деду предлагают, чтобы он и в Хмелевке товарищеские суды проводил — «умеет мозги прочищать». А как же иначе? Не зря же в областной газете «Кузбасс» статью об опыте его работы напечатали...

Казалось бы, какое им, старикам, дело до всего этого,—беспокоиться, переживать, жертвовать своим здоровьем. Есть на то более молодые, у которых и обязанности, и права пошире. Однако им всю жизнь до всего было дело, никогда они не были равнодушны к людям, к нуждам и заботам деревни, ставшей для них родной. И если большинство односельчан платит им за это уважением, то наиболее рьяные пьяницы и хулиганы на каждое их вмешательство в деревенскую жизнь реагируют иначе. «Ну, погодите!» — зlobятся, бывало, они за глаза, не смея связываться в открытую...

...Иногда, если позволяет погода, в деревню наведывается с центральной усадьбы врач, побывает в двух-трех домах и до свидания. Но таков уж организм у людей, что, случается, хандрит он при любой погоде. Вот и опять идут селяне, когда им «приспичит», в дом учителей за помощью к Антонине Ивановне. Нет у нее врачебного диплома, но зато есть огромный жизненный опыт, богатая не по годам память да большая «мудреная» книга с описанием различных лекарственных трав, к тому же в запасе и эти самые травы и солидная домашняя аптечка с разными медикаментами. Лекарственные растения она с помощью мужа и внучат

собирает в окрестных лесах и лугах, а аптечка периодически пополняется путем заказов, которые хозяйка делает за счет своих скромных сбережений, когда случается какая-либо оказия в город. Сама, своими средствами поднимает на ноги Антонина Ивановна своих домашних, когда какая-нибудь хворь укладывает того или иного в постель.

Вот со старой зареченской окраины вежут в городской роддом молодую женщину. Дорога осенней ненастной порой разбита до предела. Машина то и дело буксует, сопровождающие роженицу муж и ее мать устали таскать по грязи пихтовые ветки под колеса машины. Они, чтобы успеть вовремя добраться до места, готовы, кажется, сами лечь под колеса... Но, наконец-то, с великими муками затянулись на длинную таежную гору, дальше дорога пойдет полями, где поровнее да посуше, и все облегченно вздохнули. Однако, пока взбирались на гору, пришло то время, когда должно свершиться великое таинство жизни, о чем довольно явственно возвестила будущая мать. Сопровождающие растерялись.

— Разворачивайся к дому учителей, — в панике кричит водителю мать, которая сейчас станет бабушкой.

— Беда, Ивановна! Спасай!

А Ивановне не в диковинку. Она ментально освобождает одну из комнаток, принимает необходимые меры, и вскоре дом оглашается характерным криком человека, только что явившегося на свет. Довольная тем, что сделала для людей еще одно доброе дело, она поздравляет молодого отца и новоявленную бабушку: «С сыном и внуком вас!»

«...Жизнь наша стариковская совсем такая, какой я ее себе представлял, — писал Никифор Никифорович своему другу в далекий город. — Выходит, Блок прав: «и вечный бой! Покой нам только снится». Вечные заботы о людях, с которыми живем чуть не под одной крышей (кто же о них позаботится, коли не мы?), заботы о домашней живности и огороде, о за-

готовках сена и дров. А тут еще вначут бывает полон двор, за которыми нужен глаз да глаз, чтобы не росли шалопаи... Так что для души времени почти не остается, разве лишь почаями.

«Для души» — это значит самостоятельная творческая работа. По натуре Никифор Никифорович поэт. В какую бы библиотеку или магазин ни заглянул, его прежде всего интересуют поэтические сборники и особенно новые произведения писателей и поэтов Сибири, Кузбасса. В его личном архиве за многие годы накопилось столько собственных незаконченных стихов и набросков, что для их обработки, к сожалению, не хватит и целой жизни. Только некоторые из них в разное время были опубликованы. «Вот пойду на пенсию, тогда доведу кое-что до ума», — мечтал ветеран.

Потомок сибирских и украинских хлеборобов, с детства влюбленный в творчество Тараса Шевченко, он всю жизнь не расставался с его сборниками. Поэзия великого кобзаря, как и поэзия бессмертного Пушкина, всегда была для него неиссякаемым источником жизненного оптимизма и вдохновения. Зная в совершенстве русский и украинский языки, он неоднократно перечитывал произведения Шевченко, изданные на том и другом языках. Впоследствии учитель стал невольно обращать внимание на некоторые, по его мнению, неточности в переводах отдельных стихотворений поэта. Попробовал перевести одно из них по-своему. Потруился немало, но, кажется, получилось неплохо. Успех окрылил, на досуге взялся за другое стихотворение... Увлекательное занятие настолько захватило, что он забыл наброски собственных стихов и на время отстал от селькоровских дел.

Однако собственное мнение не может быть точным мерилем в оценке своего труда, и Кубылинский обращается за консультацией в редакцию журнала «Новый мир». Ответ пришел не скоро, но был весьма обнадеживающим, в нем, в частности, сообщалось, что «прекрасный пе-

реводчик и руководитель секции художественного перевода московского Союза писателей Л. В. Гинзбург, отзываясь о переводе стихотворения Шевченко «Днепр», сказал: «Этот перевод — лучший из известных мне переводов...»

Но однажды письмо из столицы принесло горькую весть: Гинзбург скончался... Не стало единственного доброго человека, который своим высоким авторитетом пытался поддержать начинающего переводчика из далекой сибирской деревни...

...В который раз отшумела весенним половодьем речушка Подиковка, унося свои шальные воды в большую реку Томь. В который раз буйно отцвела тайга черемухой, рябиной да калиной, отцвели на прилегающих лугах и косогорах подснежники, ветренники и огоньки, отпели свои любимые песни скверцы, соловьи и прочие пернатые, отворожила за вспаханнми огородами хитрая обманщица кукушка. Деревня стойко перенесла все зимние передряги и продолжала жить своей то тихой и незаметной, то шумной и взбалмошной, как речка в половодье, жизнью. Однако уже наметились, ко всеобщему удовлетворению селян, перемены к лучшему, и, что особенно их удивило и обрадовало, это, словно первые скворцы ранней весной, появившиеся в деревне новые люди — переселенцы, начавшие занимать пустующие дома. А перемены эти явились следствием того, что перестала деревня быть подобием бедной родственницы: вместе с соседними Усть-Хмелевкой и Пещеркой вышла она из состава совхоза-гиганта и стала самостоятельным отделением нового хозяйства, организованного на базе этих трех деревень.

Супруги-учителя, несмотря на преклонные годы, остаются все такими же энергичными и непоседливыми. И внешне они мало изменились, разве только у Антонины Ивановны полноты чуть прибавилось, как у той березы, что стоит под окном. В ту пору, когда они здесь поселились, березка была совсем молоденькой, а

сейчас выглядит уже солидным деревом, и развесистые ветви ее заботливо принакрыли тесовую крышу их дома, словно оберегая его обитателей от житейских ветров и невзгод. Хозяева дома не утратили прежнего интереса к жизни деревни, как всегда, активно и смело вторгаются они во все ее дела и события, живут ее радостями и печалью, и все так же гостеприимно открыты перед людьми двери их дома.

Утрами после завтрака Никифор Никифорович по обыкновению направляется либо в магазин — купить хлеба, соли, спичек, а заодно и порыться на книжной полке: нет ли чего нового, — либо идет на ферму, где надо встретиться с бригадиром, животноводами и механизаторами, обменяться с ними новостями, поговорить о делах, посоветоваться по поводу поступившего в товарищеский суд заявления о нарушителе трудовой дисциплины или общественного порядка, постараться побеседовать с ним самим. Сегодня же Антонина Ивановна «командировала» мужа проводить внучат, забота о которых не дает покоя ни днем, ни ночью. Кажется, о собственных детях так не беспокоились, как о них. Да оно и понятно, ведь своих-то было только трое, и росли они вроде бы незаметно, держась за материн подол, всегда копошились под боком, под рукой, а выросли и наградили родителей косым десятком внучат. Особенно порадовал старший сын Владимир. Если у младшего лишь один ребенок, а у дочери — двое, то у него уже восемь. Будто сбывались свадебные пожелания.

В очередную «командировку» Никифор Никифорович отправлялся, как обычно, пешком, а возвратился на другой день на лошади, запряженной в телегу, да не один, а со старшим внуком Андрейкой и с радостной новостью: у Владимира с Галиной появился еще один сын!

— Теперь у нас восемь мужиков и одна девочка, — весело сказал Андрияша.

За обедом дед рассказывал:

— Пришел я вчера к ним как раз к

этой поре. Галина на стол собрала, прилегла вроде бы отдохнуть. Сын со стола начал убирать, а я с малышкой на берег подался, на реку взглянуть. Получаса не прошло, прибегают Андрейка: «Деда, тебя папка зовет». Поднимаюсь на крыльцо, а Владимир навстречу какой-то сияющий и вместе с тем озабоченный. Можешь, говорит, батя, поздравить меня с новым сыном. Я тут, признаться, чуть с крыльца не сверзился. И когда она успела? Прямотаки не верится, однако слышу: шумит на весь дом новый человек... Вот такие пироги, мать! Надо тебе ехать, сын наказал немедленно тебя доставить.

Хозяйка, выслушав мужа, с чувством изрекла:

— Ну что ж, молодец Галка! Только она ведь не просто галка, а настоящая орлица. Побольше бы нам таких снох! — Потом, помолчав и подумав над чем-то, Антонина Ивановна вынесла такое решение: — Вот что, я буду собираться, а вы с Андрейкой разыщите корову и пригоните домой. Мы с собой ее уведем. Своя-то у них совсем состарилась, поди уж вовсе молока не дает. Детям надо помочь, а сами как-нибудь перебьемся. Правильно я говорю, Андрей?

А внук, по привычке копавшийся в книгах, которых у деда с бабушкой превеликое множество, вместо ответа спросил:

— Баба Тоня, а рассказы Шукшина у вас есть?

Антонина Ивановна страшно не любит, когда ее сбивают с мыслей каким-нибудь посторонним вопросом, не относящимся к делу. Вот и сейчас она резковато оборвала внука:

— Какого еще тебе Шукшина? Ты бы лучше про Гомера или Петrarку спросил. Сказано, идите за коровой. Проваландайтесь тут до потемок.

Внук, ухмыльнувшись, нырнул за дедом во двор, а бабушка, убирая со стола, все еще кипела:

— И надо же, давно ли я его по букварю читать учила, и вот на тебе — уже по-

давай ему Шукшина... Я сама-то его еще не читала, все недосуг, а они везде успевают.

Перебив посуду, она начала собираться в дорогу и остановилась посреди комнаты в досадливой задумчивости: «О чем же это я хотела переговорить с дедом? Перебил Андриюшка... А все-таки хорош он, бестия! Здоровяк и умница, мастер на все руки. И главное — не болтливый, это он сегодня разговорился, — рад, что еще один братик появился...»

Уже усевшись со всеми узлами на телегу и отъехав от дома, бабушка вдруг вспомнила, что должна была наказать мужу и, велев внуку приостановить лошадь, окликнула того.

— Совсем ведь забыла про главное, — сказала, когда тот приблизился. — А ты и не спросишь, ради чего это я сегодня полдня грязь по деревне месила... Надо тебе не мешкая выяснить, почему до сих пор осужденная товарищеским судом алкашка и тунеядка в ЛТП не отправлена. Сколько еще деревня будет терпеть ее безобразия? Теперь она за семью переселенцев взялась, мужик с нею запил, ни на работе, ни дома не показывается, жену законную изводит, над детьми измывается. Добейся, чтобы общественный приговор был, наконец, приведен в исполнение...

...В разгар жаркого лета устоявшуюся деревенскую тишину взбулгачило прибытие в отделение большой группы районного и совхозного начальства. Прибывшие проверяли состояние готовности только что созданного хозяйства к первой уборочной страде, также интересовались и некоторыми вопросами соцкультбыта. Мимо дома учителей пропылили вниз к речке два газика, а третий подкатил к калитке, у которой с тяпкой в руке, простоволосая, в полинявшем сарафане и шлепанцах на босу ногу стояла Антонина Ивановна. Щурясь от солнца, она с любопытством разглядывала людей, вышедших из машины, по ее раскрасневшемуся лицу, подернутому тонкой сет-

кой морщинок, скатывались капельки пота.

— Вы нам писали по поводу открытия школы, — после знакомства начал один из приезжих (это был заведующий районо). — Вот мы приехали, чтобы рассмотреть этот вопрос на месте при вашем участии.

— Да, писала, и не только вам, и не однажды, — оживилась Антонина Ивановна. — Давно пора решить этот вопрос, и решать его надо положительно, иначе не только переселенцы не приживутся, но и последние старожилы разбегутся...

Но и на сей раз дело уперлось в то же самое: маловато набирается ребят школьного возраста. И опять, как это случилось не однажды, старейшая учительница, давно ушедшая на заслуженный отдых, но продолжающая нести на своих плечах груз общественных забот, попыталась найти выход из положения. Загоревшись какой-то идеей, она спросила:

— А что, если мы с дедом возьмем на воспитание трех наших внучат из соседнего района, которые будут здесь учиться вместе со всеми, тогда как, откроете?

Представители райисполкома с изумлением уставились на седовласую хозяйку, в серых, еще не поблекших глазах которой светились пытливый ум, решительность и властность... Казалось, что скажи сейчас «нет», она схватит в руки тяпку и презрительно бросит через плечо: «Да ну вас! Некогда мне с вами расусоливать», — пойдет окучивать свою картошку...

Ответ был положительным. Так спустя восемь лет после закрытия в деревне школы-восьмилетки была открыта малокомплектная школа. И снова, как когда-то уже давно, Антонина Ивановна собрала родителей учащихся и, окрыленная успешным завершением своих хлопот, взялась за подготовку школьного помещения к учебному году. Ввиду малого количества учащихся под школу решили приспособить пустовавшее помещение рабочей столовой. Антонина Ивановна от-

клонила предложение вернуться к учительской работе: «Теперь, к сожалению, уже поздновато...» и охотно приняла на себя скромные обязанности школьной технички.

С осени супруги будто бы вдвое помолодели. Небольшой их домик, как когда-то в далекую пору, снова наполнился звонкими детскими голосами, и будто все не внуки — «открыватели школы», как прозвал их дед, — шумят и спорят между собой да зубрят домашние уроки, а их, молодых супругов, собственные дети. Ранними морозными утрями, когда скотники спешат на ферму, Антонина Ивановна потихоньку, чтобы не разбудить внучат, собирается в школу. Благо, что она находится неподалеку, тут же на горе. Прежде всего надо натопить там печи, чтобы было в помещении тепло (не дай бог ребята застудятся), нанести и накипятить воды для питья, протереть мебель, вымыть полы, а потом уж очистить от снега крыльцо и площадку перед ним. А после еще надо успеть приготовить завтрак для своей «гвардии», накормить и собрать их в школу, проследить: не забыли ли чего, надежно ли обуты и одеты, не заболел ли кто, и, убедившись, что все в порядке, проводить до школьного крыльца.

А Никифор Никифорович тоже нашел для себя посильную работу — пока почтальонка в декретном отпуске, он выполняет ее обязанности. В одно время с супругой идет он на ферму, запрягает в кошевку лошадь, и какая бы ни была погода, хоть камни с неба, едет в Усть-Хмелевку, в отделение связи за почтой. Возвратившись домой, он сортирует ее, потом вместе с внучатами разносит по деревне. Дети с большой охотой помогают деду в этой несложной, но кропотливой работе.

Вернувшись из последней поездки, Никифор Никифорович вручает супруге несколько писем, поступивших на ее имя из некоторых западных областей. Это были отклики на ее публикации в «Сель-

ской жизни» и «Медицинской газете», в которых она сетовала на то, что в их деревне из-за недостатка медицинских работников нет возможности открыть медпункт. Прежде чем писать в центральные газеты, она обращалась по этому поводу в районные и областные инстанции, но ответ был один — не хватает специалистов. И вот авторы писем, медицинские работники, предлагают свои услуги, выражают готовность поехать на работу в далекую сибирскую деревню, была бы только квартира. Обрадовали Антонину Ивановну эти отклики, но тут же и обеспокоили, потому что, как выяснилось, в деревне уже не осталось ни одного пустующего дома. С одной стороны, это хорошо: «Гляди-ка, сколько народишку привалило! Ожила, знать, наша деревня!» — а с другой — куда же определять на жительство специалистов? Ведь их со временем потребуется все больше. Взять ту же школу, не век же ей оставаться малокомплектной: коли появился народ, то будут и дети — не успеешь оглянуться, как станет вопрос о расширении школы, а значит и о квартирах для учителей. Выход один — надо строить жилье, строить многое другое.

— Пойду-ка я все-таки еще раз потолкую с деревенскими, — сказала она мужу. — Может, кто из старожилых согласится принять на жительство медработника, хотя бы на какое-то время. А вы тут с гвардией начинайте-ка чистить картошку да готовьте ужин...

...Давно погасли в деревне огни, давно спят умаявшиеся за день люди, спит все живое на ферме и в приусадебных дворах, только не гаснет свет в доме, что на таежной горе, и не спит в том доме старый учитель. Когда уgomонилась детвора и перестала тяжело топтаться у кухонной плиты баба Тоня, он, уединившись в тесном закутке за перегородкой, начинает «колдовать» над своими виршами, которыми завален весь стол. Просматривая пожелтевшие от времени листы, исписанные ровным учительским почер-

ком, долго задумывается над ними, тербя седые усы и оглаживая пятерней облысевшую голову. Потом решительно зачеркивает какие-то строки, вместо них вписывает другие и, сдвинув кустистые брови, читает посуровевшим голосом:

Быть может, скоро наш черед
С друзьями, с домом расставаться, —
Пока ж жарга с косой придет,
За жизнь, как прежде, будем драться.

В прошлом году Никифор Никифорович разменял вторую половину восьмого десятка. Однако на здоровье пока не жалуется, хотя с некоторых пор носит при себе дробинки нитроглицерина — «мотор иногда пошаливает». Одно время заметно начало сдавать зрение, уже и очки не помогали. Встревожился ветеран. Как жить, не располагая возможностью читать и писать? К счастью, выручила все та же луговая травка. Систематически употребляя заварку ее семян, он, к великой радости своей, даже и очки забросил.

Теперь ветеран жалуется лишь на одно — на нехватку времени: хоть разорвись между личными и общественными делами. Однако попробуй разберись: что тут личное, а что общественное, и что по душе, а что по обязанности. Как ни крути, а выходит, что все по душе. Иначе не тащил бы на своих стариковских плечах не столько почетные, сколько чреватые неприятностями разные общественные обязанности, не корпел бы над селькоровскими заметками.

...А получаю я порою и укоры,
Но мне не надо никаких наград.
За труд нелегкий честного селькора
Судьбу благодарить всегда я рад.

«Укоры» — это необоснованные нарекания со стороны некоторых хозяйственных руководителей, некогда подвергшихся справедливой критике за промахи и упущения в работе, за бесхозяйственность и бюрократизм. Но, несмотря ни на какие наскоки критикуемых, а зачастую и их опекунов, он остается все таким же

беспокойным правдолюбом, ершистым и принципиальным в спорах, неуживчивым с начальством, если оно равнодушно к людям и нуждам села, к интересам государства, непримиримым врагом всякого рода рвачей и приспособленцев, пьяниц и хулиганов.

В толстых папках на полках, заставленных книгами и журналами, заваленных газетами и пачками рукописей, хранятся для памяти газетные вырезки с корреспонденциями хозяина, накопившимися за многие годы. В основном это положительные материалы на различные темы сельской жизни, а также и критические статьи, письма в редакцию с острыми сигналами. Особое место в селькоровском багаже занимают выступления в защиту природы. Еще четверть века назад учитель будучи тогда депутатом сельского Совета, опубликовал в «Кузбассе» тревожную статью «О чем шумит сосновый бор?», а редакция газеты добилась принятия по ней мер. За грубейшие нарушения правил лесного пользования, причинившие государству большой материальный ущерб, дирекции совхоза «Барановский» был предъявлен денежный штраф в размере 35 тысяч рублей. После таких серьезных санкций кое-какой порядок в вопросах лесопользования был наведен, но продержался он, к сожалению, недолго. Руководители совхоза скоро забыли о преподнесенном им уроке — штраф-то не из их кармана, — зато надолго затаили обиду на селькора. А они впредь продолжал выступать в защиту зеленого друга.

Вот более свежие факты. Как-то перед новым годом Никифор Никифорович, прийдя к колонке за водой, услышал стук топора, доносящегося из пихтача. «Опять елки рубят, и совсем рядом», — с этой мыслью дед отставил ведра и заспешил к машине, стоявшей на дороге за поворотом. Машина с откинутым задним бортом была почти доверху загружена мо-

лоденькими зелеными пихточками. Двое молодчиков с топорами выбежали из лесу, забросили в кузов еще пару пушистых красавиц и нырнули в кабину. Машина рванулась с места и понеслась в сторону города. «Стой!» — надсадно закричал было он, потом, остановившись, досадливо молвил: «Эх, если бы несколькими минутами раньше выйти мне из дому, тогда б они от меня не ушли... Доколе же можно терпеть подобное варварство?»

А в январе на страницах районной «Зари» появился обстоятельный материал под заголовком «Зеленая зона — будущий пустырь?». Рассказав о богатствах тайги и о той огромной роли лесов, окружающих селения, селькор предъявил руководству Кемеровского лесхоза обоснованные обвинения в том, что оно не проявляет заботу об организации охраны лесных массивов. Отсутствие охраны, регулирования и контроля вырубок, а также взимания платы за заготовленную древесину давно породили опасные убеждения в том, что лес существует лишь для того, чтобы его вырубать, брать из него все безвозмездно. Автор приводит конкретные цифры, свидетельствующие о хищническом отношении к лесам, для вырубки которых даже не требуется никакого разрешения и платы. «По данным исполкома Барановского сельского Совета, в совхозе «Хмелевский», в трех деревнях (Усть-Хмелевка, Ново-Подиково, Пещерка) около 200 дворов. Ежегодно на каждый двор вырубается для отопления 25 кубометров леса, а всего 5 тысяч кубометров. Примерно столько же используется на частное строительство, ремонт жилья и на различные ограждения. Лес рубят прямо на околице, за окнами домов. А еще беда — охота за елками. Их под каждый новый год вырубается столько, что трудно подсчитать. При этом рубят молодые деревья, а забирают только их вершины...» Кто же защитит зеленого друга? — с тревогой и болью в душе спрашивал селькор.

Прошло немало времени, но увы! Ни лесхоз, ни руководство совхоза «Хмелевский», ни исполком сельского Совета не откликнулись на выступление газеты. И по-прежнему тревожно шумит за огородами лес, по-прежнему зловеще раздаются там перестук топоров да визг бойкой электропилы. А с ней, этой самой пилой, хотя она и называется «Дружба», шутки плохи: если ее вовремя не остановить, на месте зеленой зоны останется лишь пустырь. Не дождавшись ответа, упрямый селькор снова стучится в двери редакции и снова спрашивает: «Когда у леса будет хозяин?» Наконец в «Заре» напечатали ответ директора лесхоза. Был он сух и предельно краток: «У леса хозяин есть — это совхоз «Хмелевский», но в штате совхоза нет работника лесного хозяйства, лесорубочные билеты никто не выдает»... Вот и все. Но новоявленный хозяин молчал, как будто это его не касается, и было неясно, когда и какие меры он думает предпринимать для охраны зеленого массива...

Как говорится, не хлебом единым жив человек. Надо что-то и для души. Уже вроде бы и годы не те и здоровье прихрамывает а она, душа-то, все ждет чего-то необыкновенного и заставляет коротать ночи над стихами, которые, быть может, никто и не прочтет. Разве только внуки.

...Последние годы памяты супругам Кубылинским не только тем, что «прибавилось народишку, прибавилось и хлопот», но и тем (а это, пожалуй, самое главное), что их старинная, ставшая родной, деревенька опять начала обновляться — третий раз за годы Советской власти. Справедливости ради нельзя не сказать, что в этом немалая заслуга Кубылинских, которые в самые трудные для деревни дни не оставили ее; как могли, боролись за нее, за ее людей, помогали им выстоять в трудностях.

После открытия малокомплектной школы прошла зима, другая и третья, но ру-

ководство совхоза, вопреки ожиданиям тружеников Ново-Подиковского отделения, не баловало их своим вниманием, и в деревне все оставалось по-старому. Зато на центральной усадьбе в Усть-Хмелевке развернулось небывалое для этих мест строительство. «Хмелевцы будто по лотерее такой подарок выиграли,—роптали подиковцы. — А чем же мы хуже их? Писать надо в газету...»

И снова селькор берет за перо, мало того — добивается приема у первого секретаря райкома партии. После публикации в «Заре» письма о забытой деревне сюда нагрянула представительная комиссия из ответственных работников почти всех отделов райкома и райисполкома. Прибывшие выслушали претензии и пожелания селян, изучили возможности обновления деревни, а возвратившись в райцентр, высказали свои соображения и наметили мероприятия по благоустройству.

А вскоре на центральной усадьбе состоялась встреча тружеников совхоза, в том числе и новоподиковцев, с первым секретарем райкома партии и руководителями отделов. Спустя некоторое время встреча повторилась. В деревне стали проводиться так называемые Дни профилактики с участием руководителей совхоза и представителей общественности. Нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка заметно поубавилось. Производственные дела в отделении пошли на поправку.

В довершение всего начали осуществ-

ляться мероприятия по благоустройству и улучшению культурно-бытовых условий. Большое кирпичное здание бывшей школы, пустовавшее несколько лет, было капитально отремонтировано, в нем оборудовали магазин, клуб с кинозалом, медпункт, филиал комбината бытового обслуживания. Здесь же разместилась и начальная школа. Все эти учреждения, в том числе, наконец, и медпункт, укомплектованы кадрами и необходимым оборудованием для нормальной работы. Идет строительство нескольких жилых домов, общежития и столовой. Жители старой части деревни продолжительный период испытывали трудности из-за отсутствия чистой питьевой воды, единственным источником была речка. Пробурили скважину и оборудовали водоклонку для общего пользования. На месте старого, несколько лет назад сорванного половодьем моста через речку, построен новый, правда, пока пешеходный. Намечено строительство большого моста для машин. В ближайшем будущем дорога с твердым покрытием должна соединить деревню с центральной усадьбой, а через нее и с автотрассой Кемерово—Яшкино. Пассажирские автобусы из города будут курсировать не только до Усть-Хмелевки, как сейчас, но и до Ново-Подикова. В плане благоустройства села намечены и другие мероприятия.

Свежий, бодрящий ветер перестройки не обошел стороной совсем было забытую глубинку, и больше всех радуются тому старые супруги-учителя.

г. Юрга

В. Мазаев

ДОКУМЕНТЫ СУРОВЫХ ЛЕТ

Собирая материалы к книге о Новокузнецке военной поры, роюсь в архивах. Я соприкоснулся с массой документов, со страниц которых скучным языком фактов заговорило Время. В суровых документах этих мало эмоций, одна сверхлаконичная констатация, но зато сто процентов правды. Это может подтвердить любой читатель старшего поколения.

Делая выписки, я не стремился к строгому отбору более значимого от «менее», полагая, что в каждом, даже на первый взгляд незначительном факте вдумчивый читатель (особенно молодой) прочтет для себя многое. Я лишь позволил себе дать кое-где краткий комментарий.

Мы не имеем права ничего забывать из своей истории — ни светлых ее страниц, ни горьких. Ибо горькие страницы свидетельствуют о силе духа народа подчас не менее ярко и впечатляюще, чем иные другие.

Из постановления Сталинского ГК ВКП(б) от 19 июля 1941 г.

Выделить для госпиталей
следующие помещения:

ДК металлургов	500 коек
Гостиница КМК	500 —«—
Школа № 2	230 —«—
Школа № 9	200 —«—
Школа № 90	150 —«—
Школа № 1	120 —«—

В. М. Идет только месяц войны, когда неясны еще истинные масштабы людских потерь, а самые большие помещения, из тех, что легче приспособить к приему раненых, уже отданы. Но это лишь начало. Уже осенью появится документ, из которого можно понять, что почти все школы отданы «для других назначений» и, несмотря на это, учеба ребятшек не прерывается. Вот он, этот документ.

«В целях высвобождения школьных помещений для других назначений и организации бесперебойной учебы детей предложить председателям гор(рай)исполкомов занятия в школах производить в три смены при непрерывной неделе, обучая каждый класс через день, что даст возможность охватить учебой поголовное большинство детей». (Из решения Новосибирского облисполкома от 19 октября 1941 г.)*.

О ходе поступления средств в фонд обороны страны

Золотых вещей (различной стоимости)	63 шт.
Серебряных	164 шт.
Золота в монете	45 руб.
Серебра в монете	208 руб.

* Город Новокузнецк (Сталинск) до начала 1943 года входил в состав Новосибирской области. (Прим. ред.)

Всего (на 21 авг.) 406775 руб. Облигаций на 2 195 400 руб. Кроме того, поступила новая автомашина М-1, 2 велосипеда, микроскоп, измеритель скорости течения воды.

Машину сдал нач. доменного цеха КМК т. Борисов (кроме того, 200 руб.). Микроскоп — врач Остроумова (стоим. 1200 руб.).

В. М. В течение четырех военных лет сбор средств для помощи фронту приобрел массовый характер. Вносимая сумма была иногда столь значительна, что на нее можно было построить такую дорогостоящую машину, как танк или даже самолет. Эта выписка примечательна тем, что дает итоги первого с начала войны поступления средств в городе. Датирована 23 августа 1941 года.

**Из решения бюро
Новосибирского обкома ВКП(б)
от 6 июля 1941 года**

В целях экономии бензина прекратить эксплуатацию легковых автомашин по г. Сталинску, за исключением:

Автомашины	ЗИС-101	ГК ВКП(б)
	ЗИС-101	горисполкома
	М-1	директора КМК
	М-1	гл. инженера
	М-1	упр. трестом «Сталинск-промстрой»
	М-1	гл. инженера треста
	М-1	госбанка
	ГАЗ	госбанка
	Пикап	КМК

С остальных легковых машин в двухдневный срок снять номера.

Установить нормы расхода горючего (в литрах на месяц):

ЗИС-1-1	150 л
М-1	75 л
ГАЗ-А	50 л

**Из постановления исполкома горсовета
от 25 июня 1941 года**

Обязать всех граждан в 5-дневный срок сдать органам народного комиссариата связи

на временное хранение на время войны радио-приемники всех без исключения типов, в т.ч. и автомобильные, и радиопередатчики.

* * *

В связи с трудностями в расселении эвакуированного населения и заводов оборонного значения обязать гороно (т. Сай) краеведческий музей на время войны свернуть.

Здание музея передать заводу № 579.

Экспонаты музея, необходимые как пособия для учащихся, разместить по существующим школам.

* * *

В целях экономии электроэнергии исполнительный комитет решил:

Установить в городе следующие максимальные нормы освещения в ваттах на 1 кв. метр площади.

В торговых предприятиях, парикмахерских, клубах, выставках и квартирах не выше 5 ватт.

В ресторанах, кафе, столовых, гостиницах, в банях не свыше 4 ватт.

В школах, больницах не свыше 8 ватт.

Рекламное освещение (кроме аптечного) не допускать.

* * *

В связи с повышением цен на парфюмерию установить в парикмахерских таксу:

На лицо с тройным одеколоном	50 коп.
цветочным —«—	1 руб.
Крем для бритья	17 коп.
Перманент (завивка)	18 руб.

**«О подготовке трудящихся г. Сталинска
к противохимической
и противовоздушной обороне»**

27—28 августа 1941 года было введено общее городское учение МПВХО. Город и завод были затемнены, однако совершенно отсутствовала светомаскировка при выдаче кокса, разливке стали и при выливании расплавленного шлака из ковшей. Это все периодически демаскировало город и завод. Дирек-

ция ссылается на крупные капиталовложения, которые не ассигнованы для этого Наркомчерметом.

В. М. Нам трудно сегодня поверить в необходимость маскировки города, отстоящего от фронта за тысячи километров. Но давайте хоть на минуту мысленно вернемся в то трагическое лето 41-го. Вероломное нападение. Тяжелейшие сводки Совинформбюро. Фронт подкатывается к Москве, что еще вчера казалось невероятным. На Востоке изготовилась к прыжку милитаристская Япония. Неясно, какими силами и военными возможностями располагает враг. Горький опыт первых двух месяцев предупреждает: надо быть готовыми ко всему...

* * *

Из общего числа продуктов для госпиталей города 1/30 часть, согласно приказу НКО, отчисляется детям фронтовиков, потерявших родителей.

* * *

Харьковское отделение «Промстройпроект» развернуло работы по проектированию строительной части и изысканиям 2-го Сибирского металлургического завода (декабрь 1941 года).

В. М. Отделение треста разместилось в школе № 3 на Островской площадке. К сожалению, других документов, которые бы свидетельствовали о том, какие именно работы были проведены, найти не удалось. А жаль. Вот когда, в какое время, оказывается, забивались первые колышки всем ныне известного Запсиба!

Из записки в ГК ВКП(б) от 9 февраля 1942 года

Трамвайное движение в городе пришло в тяжелейшее состояние. Эксплуатационная скорость поездов вместо плановых 16,6 км/час фактически 15,3 км/час. Вагоновожатых не хватает 16 человек. Контактный провод в катастрофическом состоянии, износ 70 процентов. Половина опор и 75 процентов шпал требует замены. Вагонное депо не отапливается, топлива нет.

...Просить 15 тонн провода у Томской ж. д. Просить у Новосибирского Главлесосбыта 10 000 штук некондиционных шпал.

Обратиться с призывом к населению о помощи по очистке путей от снежных заносов.

В. М. Уточним, что трамвай в Новокузнецке тех лет был практически единственным видом общественного транспорта. Все пути его, из всех районов города, сходились у Кузнецкого металлургического комбината. Деорганизация трамвайного движения фактически грозила дезорганизацией работы комбината. Благодаря принятым мерам, невероятным усилиям города и самого КМК проблема эта уже к осени была снята.

Из постановления исполкома горсовета

Изготовить в течение лета 1943 года 150 тыс. пар обуви на деревянной подошве.

Из документов ГК ВКП(б) 1942 года

Из Ленинграда в Сталинск эвакуированы учащиеся РУ № 70. Директор РУ Калинин, помполит Иванов, зав. снабжением и питанием Бейм, ст. комендант Бюргер. Как установлено, ими было допущено преступное отношение к вверенной им жизни учащихся: полное отсутствие контроля, антисанитария, присвоение продуктов на питательных пунктах в пути (иногда в течение трех суток ребята ели один раз). Учащихся скучили в вагонах, остальные вагоны были заняты личными вещами обслуживающего персонала.

В Свердловске две девочки — Новожилова и Петрашевская — попали под поезд. Мальчик погиб под колесами, причем до сих пор не установлена его фамилия.

В пути следования умерло 26 человек, 36 госпитализировано, сбежало и отстало по дороге 54. Прибыло в Сталинск 240. Все настолько изнурены и истощены, что нуждаются в длительном лечении и восстановлении организмов.

Бюро ГК постановляет:

...Учащихся разместить в РУ № 23 и поме-

щении аэроклуба. Обеспечить постелью, медицинским обслуживанием, питанием. В столовую возить на машинах. Обеспечить ремонт одежды, обуви.

Закрепить опытных коммунистов (Заводской РК) для работы среди учащихся.

За бездушное отношение к сохранению жизни вверенных им учеников во время эвакуации из Ленинграда, за шкурничество директора Калинина, помполита Иванова, ст. комеданта Бюргера из партии исключить. Дело передать следственным органам.

Поручить начальнику гор. милиции т. Кайгородцеву немедленно начать розыск сбежавших зав. питанием РУ № 70 Бейма и доктора Юфа.

В. М. Это тоже темная сторона войны, в ее наиболее отвратительном обличье: в наживе и шкурничестве, в потере всего человеческого ради собственного и подлого благополучия. И какой неоплатной ценой — гибелью и страданиями детей!

Бюро горкома четко и недвусмысленно высказывается на этот счет.

Информация о культурной жизни

29 марта 1942 года в г. Сталинск прибыл московский театр оперетты. Директор и художественный руководитель Николай Григорьевич Александров.

Из постановления исполкома горсовета

Ликвидировать в городе продажу хлеба без карточек по повышенным ценам, начиная с 22 сентября 1942 года.

Начиная с 22 октября 1942 года, продавать по продовольственным карточкам 400 г картофеля вместо 100 г печеного хлеба для всех лиц, получающих 800 г и более в день.

...Заменить на период с октября 1942 г. по май 1943 г. выдачу круп и макарон по карточкам картофелем в размере 50 процентов соответствующей нормы отпускаемых круп, макарон, по эквиваленту за 1 кг круп 5 кг картофеля.

Из постановления ГК ВКП(б)

Установленный решением обкома ВКП(б) от 2.9.42 г. план приема, размещения и обслуживания эвакуированного в Новосибирскую область из Ленинграда населения в количестве 35 тыс. человек распределить по районам города следующим образом...

Информация о культурной жизни

Государственный театр им. Заньковецкой проработал в г. Сталинске с 4 декабря, 1943 года по 4 октября 1944 года. За это время дал свыше 300 спектаклей («Олеко Дундич», «Маруся Богуславка», «Генерал Брусилов» и др). В составе труппы нар. артист СССР Романицкий, засл. артист УССР Любарт, Еременко, Харченко, Богаченко, Писаревский, Дударев и др.

Сигнал в партийную организацию (ноябрь 1943 года)

Смазича Клишина (стан «450») не выходит на работу 22 дня из-за отсутствия обуви. Ввиду чего у нее отобрали карточку. Клишиной 16 лет, сидит в бараке совершенно раздетая, без хлеба.

Из документов ГК ВКП(б)

9 января 1943 года на заводском партийном собрании КМК (закрытом) выступил командир отдельного белорусского партизанского отряда тов. Войцеховский.

Из пояснительной записки к документу (февраль 1943 г.)

ГК ВКП(б) посылает на заключение специалистов предложение инженера КМЗ Пашкова о светооптической и световой маскировке боевых машин. Помимо этого автор работает еще над одним предложением: «Концентрация тепловых лучей для уничтожения живой силы противника и взрывание складов на расстоянии».

Секретарь ГК Григорьев

Из воспоминаний участницы войны Бахтеевой (Новожиловой)

В 1943 году в городе Нежине, в районе железнодорожного парка, зенитчики нашего полка услышали самолет. Погода стояла пасмурная, моросил дождь. Звук мотора не походил на наш (как позже выяснилось, он был поврежден). На первые очереди пулеметов самолет не ответил сигналами: «Я свой». Тогда был открыт перекрестный огонь со всех сторон, и самолет упал. Оказалось — наш. Два пилота были мертвы, третий — жив, тяжело ранен. Он сказал: мы такое задание выполнили, прошли через огневой заслон немцев, а тут свои... И заплакал.

Из воспоминаний П. В. Новоселова, первого секретаря Куйбышевского РК ВКП(б) с февраля 1943 по декабрь 1945 года

В 1943 году шахта им. Димитрова не выполнила план. Первый секретарь обкома т. Зодионченко поручил мне обеспечить личный контроль. «Не возвращайся в райком с шахты, пока та не станет твердо на ноги». Положение было крайне тяжелым. Отсутствовал очистной фронт. И взять его негде было, так как на верхнем горизонте были нарушения, а строительству нижнего помешала война.

Вместе с парторгом шахты Канаевым П. С. нам удалось через геологов треста установить, что недалеко от шахты залегают пласты Кожелихинской свиты. Но над ними территория кирзавода № 8 и железной дороги. Мы связались с руководством этих предприятий и получили их согласие на наш план. Вскрытие пласта поручили лучшим шахтерам — тт. Куплинскому и Лиханову, пообещав им талоны на сапоги.

Условия работы были опасные и исключительно тяжелые. Но горняки не отступили. Пласт был вскрыт с карьера кирзавода через 50-метровую штольню. Уголь из этой штольни без промедления пошел на временную эстакаду. Таким образом, шахта вышла из прорыва. Позднее этот участок давал угля больше, чем вся шахта им. Димитрова.

После войны из него выросла шахта «Западная».

Из справки 1943 года (ноябрь)

На складе Старокузнецка имеются:

— ботинок кожаных	60 пар;
— валенок	1644 пары;
— ботинок американских	1470 пар;
— чулок стежених	260 пар;
— лаптей лыковых	800 пар;

Из протокола заседания бюро ГК ВКП(б) от 19 июня 1942 г.

Присутствовали: члены бюро тт. Москвин, Терентьев, Чернышев, Кайгородцев, Доронин, Кожемякин.

Слушали: о производстве изделия М-30 на Кузнецком металлургическом заводе им. Сталина (докл. т. Плющев).

Заслушав доклад зам. директора по боеприпасам т. Плющева о производстве на заводе изделия М-30, бюро ГК постановляет:

1. Обязать гл. инженера завода т. Ваксберга, зам. директора т. Плющева и парторга ЦК ВКП(б) на заводе т. Чернышева принять немедленно исчерпывающие меры по скорейшему изготовлению изделия М-30.

2. Бюро ГК считает, что до окончания строительства цеха по производству изделия М-30 изготовление этого изделия должно быть немедленно организовано на базе существующих цехов завода... Установить срок начала выпуска этой детали 23 июня с. г.

3. Зам. директора завода т. Плющеву в суточный срок разработать план и график работ.

4. Обязать всех руководителей предприятий и цехов, связанных с производством изделия М-30, считать выполнение этого задания боевым заданием фронта и выполнять его вне всякой очереди в минимально допустимые сроки.

5. Обязать зам. директора по питанию т. Соловьева обеспечить усиленное питание всех рабочих и служащих, занятых на изготовлении изделия М-30.

8. Сталинскпромстрой, т. Кратенко:

а) немедленно приступить к подготовке и строительству цеха по производству изделия М-30;

б) принять все меры к тому, чтобы все строительные и монтажные работы были закончены и цех пущен в эксплуатацию 15 июля 1942 года. Гл. инженеру т. Ваксбергу до 25 июня выдать т. Кратенко все чертежи и техническую документацию по строительству этого цеха. Выдачу их начать не позднее 21 июня 1942 года.

9. Бюро ГК предупреждает всех руководителей, что медлительное выполнение заданий по этому производству и срывы установленных сроков будут рассматриваться как преступление перед Родиной, как срыв боевых заданий фронта...

Секретарь Сталинского ГК ВКП(б)
В. Москвин

В. М. Суровые слова, жесткая интонация. Невероятно, прямо-таки фантастически короткие сроки (начало выпуска изделия на базе действующих цехов — через три дня, чертежи,

техническая документация для строительства специального цеха — через шесть дней, пуск цеха — через 27(!) дней. Что же это за таинственное «изделие», потребовавшее столь исключительной даже по военному времени мобилизации сил и средств? Но все встанет на свои места, когда мы узнаем, что изделие М-30 — не что иное, как реактивный снаряд к легендарному миномету «катюша» повышенной мощности. Под этим некогда кодовым названием образец снаряда можно сегодня увидеть в музее Вооруженных Сил в Москве.

Этим объясняется и высокая секретность производства, и та огромная ответственность, которая была возложена на коллектив Кузнецкого комбината в лето трагического 1942 года, и жесточайшие сроки изготовления (фронт стоял в преддверии Сталинаградской битвы).

О том, что КМК в годы войны выплавлял броневую сталь, выпускал некоторые виды стрелкового оружия, боеприпасов, многое другое для нужд фронта, — общеизвестно. Но вот через много лет к нам приходит свидетельство, открывающее нам новую и столь яркую страницу в героической биографии прославленного коллектива.

Владимир Соколов

РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЕ...

Экспедиция первая

Лесосплав в области осуществляется по 16 рекам. Половина сплавных путей проходит по Мрассу и ее притокам.

Весной, когда по Мрассу идут бревна, население некоторых деревень чувствует себя оторванным от мира...

(Из газеты)

ВЕРА ФЕДОРОВНА

— Всю жизнь мы здесь. Все видели, все знаем. Каждый поворот и перекат — наш. Лосей видели — реку переплывали. Вон Каратаг с облаком на макушке. Выше горы в окрестностях нет. Дальше встретится Шаман-камень. У него глаза, нос, рот. А там до порогов рукой подать. Будьте внимательнее. Опасные дороги. У нас лодку новую пополам переломило. А перед порогами — памятник. Мать скорбящая. Когда солнце низко — издалека виден. Как звезда светится...

Вера Федоровна оправила платок на голове — сильный холодный ветер подул. И вот уже снова льется ее рассказ о чудесах Мрас-реки:

— Теперь острова пошли Инжольские. Деревья на них повалили. Бревнам мешали. А талину бабочка белая, капустница, объела. Три года стояла голая. Думали, что не отойдет...

Хитрая Вера Федоровна. То о красотах, то о бабочках, то о бревнах. Пытается вывести — в какую «степь» наши экологические

интересы... Вот муж ее, Михаил Иванович, помалкивает. Знает уже, что прибыли мы не рыбу глушить, не безобразничать. Потому и согласился, отправившись с женой на пасеку, взять попутчиков. Впрочем, ему не до разговоров — ухитряется и лодкой управлять и беспрестанно воду из нее вычерпывать.

По берегам — старые вырубки. Осинник, березняк... А навстречу — лодки, лодки... В точности такие же, как у пасечника. «Девяти-упружкой» он свою называет — по числу шпангоутов. На лодках мешки с картошкой и с кедровым орехом, горячее в бочках. Вот мимо протарахтела целая копна сена. Дорог ни же Усть-Кабырзы — почти никаких. Лодка в этих условиях — единственный вид транспорта.

— Когда поплывете, загляните к нам на пасеку, чаем напоим, — помахала на прощание рукой Вера Федоровна.

БРЕВНА

Жена пасечника не только сказочки нам рассказывала. Вот что еще она подметила:

— Река мелеет, расширяется. Пороги взрывали. Берега тракторами месят. Воду поэтому лучше пить из ручьев. Раньше муж чуть не полную лодку рыбы привозил, а в последние годы — как отрезало: не стало того избылиа...

С тридцатых годов ведутся здесь лесоразработки. Не пора ли остановиться?

На этот счет правительством принималось даже специальное решение. В соответствии с ним в 1985 году лесозаготовители должны были перейти на вывозку древесины сухопутным транспортом. Однако оказались не готовы к этому, и сплав был продлен до 1990 года.

С нетерпением ждут окрестные жители конца пятилетки. Но изменится ли что-нибудь?

Проект прокладки дорог, предложенный лесозаготовителям одним из ленинградских институтов, был с порога отвергнут, такая же участь постигла второй, половинчатый вариант этого проекта. От первого отказались, сославшись на его дороговизну, от второго — потому что на Мрассу, дескать, все равно будет строиться плотина: ввиду этого нечего беречь лес и реку.

Я позвонил в алма-атинский институт «Каз-гидропроект», откуда как из рога изобилия сыплются на Кузбасс всевозможные гидротехнические разработки: что еще за плотина, о которой никто ничего не знает?..

Заявку на проектирование дал Минводхоз. Но дело остановилось на стадии обосновывающих материалов. Не открыто финансирование. Проект, как я понял, по существу заморожен. Добавлю к этому, что созданию на Мрассу гидроузла есть серьезные альтернативы.

Напрашивается вопрос: уж не рассчитываю ли лесозаготовители на очередное продление лесосплава?

— И ведь продлят. Потому что Москву интересуют кубики... — Вот такое пришлось услышать...

СОСЕДКИ

Мы поднялись вверх по ручью и обнаружили водопад. С десяти-пятнадцатиметровой вы-

соты с шумом низвергалась в небольшое озеро струя воды. Не об этом ли безымянном водопаде упоминала Вера Федоровна? Было приятно, что и в Горной Шории есть столь необычное явление.

«Хранительницу» этого чуда звать Антонина Яковлевна Мамонова. Много лет живет она на заимке над водопадом. Чистая горница. Русская печь. В углу вместо иконы — металлический желтый оклад со старинной библии. В тазу на скамейке сушится творог — зимой его размачивают водой и едят.

...Сначала умер муж, потом мать. Двух братьев не стало — оба трагически погибли. Таковую историю поведала женщина.

...В полутора километрах от жилища Мамоновской была раньше деревня Сага, отмеченная на карте. Однако вот уже тридцать лет, как она не существует: в 1958 году сгорела при пожаре. Миновав глухой лог, мы поднялись по склону и увидели в одичавших злаках и сорняке остатки ворот. Дальше зиял пустыми оконными проемами довольно большой дом, почему-то запертый на замок. За ним — еще один уцелевший дом. Совсем крохотный. Вот и все, что сохранилось.

Из трубы маленького дома курился дымок. В нем живет последний житель Саги Макрида Ивановна Судачакова, 56 лет, немая.

Дома ее не оказалось. Мы пошли было уже назад. И тут прямо перед нами из густой травы появилась маленькая, как ребенок, худенькая женщина. За спиной у нее была вязанка дров. В свободной руке — двуручная пила. Увидев гостей, женщина изумленно остановилась. Потом жестами стала приглашать к себе в избу.

Там вытащила из-за печи мешок, долго, торпливо развязывала его, в нем оказался еще мешок. Из него Макрида Ивановна извлекла снимок миловидной девушки. Дочка! — поняли мы. И еще: ее унес куда-то за горы вертолет. Хозяйка хочет, чтобы их сфотографировали вместе...

Поразило что-то общее в судьбе двух соседок...

А ручей с водопадом благодаря А. Я. Мамоновой мы узнали как называется по-шорски — Шалбычжак.

В НАШЕМ ДОСЬЕ...

Местные жители, шорцы, как свидетельствует история, издавна жили оседло. Занимались собирательством, охотой, рыбной ловлей. Были среди них мастера по выплавке и ковке металла. Именно Шория дала название всему краю — Кузнецкий.

Горношорский национальный округ просуществовал недолго — всего 14 лет — и был ликвидирован в 1939 году. Шорская письменность так и не была создана.

В Таштаголе у многих мы спрашивали, как называются горы, среди которых расположен город, известный своей обогатительной фабрикой и железной рудой. Кстати, в Таштаголе есть и кинотеатр «Руда».

— Просто горы, — отвечали местные жители. Но вряд ли эти живописные склоны могли остаться без названия. Наконец, нам повезло. Очень старый человек вспомнил:

— Старики так говорили: эта гора — Ту-тье, эта — Сырлэ, а эта — Белая...

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕРСТЫ

Спасибо, наверное, надо сказать Петру Первому. При нем было введено в обиход понятие водоохранной зоны. Ширина ее составляла тогда ни много ни мало — 30 верст. Ныне экологические знания подкрепили целесообразность, базировавшуюся ранее на простой народной мудрости, а водоохранная зона... сузилась: для реки длиной свыше ста километров она в Кузбассе равна пятистам, для рек поменьше — двумстам метрам.

Общественность давно бьет тревогу, ратуя за расширение водоохранных зон. Но наталкивается на сопротивление упрямого лесозаготовителя.

В отделе охраны вод мне показали копию письма генерального директора «Кемерово-леса» К. К. Никифорова (датировано октябрём 1986 года), где он ходатайствует о разрешении заготавливать древесину... в охранных полосах. Это вполне серьезно: подлинник, как сказали мне, на официальном бланке...

А практика, что в последнее время нередко случается, уже обставила «теорию».

Наглядно в этом мы убедились, блуждая по какой-то странной древесной грязи, в которой даже не проваливались ноги, вдоль устья впадающей в Мрассу Заслонки. Берега речушки в этом месте и дальше вверх по течению, куда-то за поворот, полностью обезображены. От брошенной бочки с мазутом во все стороны по земле расходилась радуга.

Раскряжовка хлыстов ведется прямо на берегу, комли, макушка. хвойная лапка не используются... Сколько об этом говорят! А толку?..

Заслонка — территория Усть-Кабырзинского мехлесхоза, угодья которого тянутся вплоть до Хомутовских порогов. А ниже порогов — что ни речка, то вырубка... На берегах самой Мрассы — зудение бензопил. Древостой словно вычесан каким-то безжалостным гребнем. В воде по ступицу ворочаются трелевочники.

Лесхозы призваны охранять природу, воспроизводить ее богатства. Однако часто случается, что они пасуют перед лесозаготовителями. Так, Мысковский лесхоз дал разрешение на вырубку леса в водоохранных зонах по речкам Мяс, Тоз, Егоза. Общая площадь лесов, закрепленных за этой организацией, составляет 602 гектара, из них 181 находятся в водоохранной полосе. Если и на 400 с лишком га стало тесно заготовителям, то не пора ли им вообще отсюда убраться, сменить, так сказать, дислокацию?

А тесно кое-где и впрямь становится. Территории, гектары у лесхозов остаются, а на них все больше — пеньки, осина, бурьян.

— Даже кедр не щадят, хотя его запрещено трогать, — констатировал начальник Усть-Кабырзинского лесхоза Иван Васильевич Негуных. — Сейчас с нас требуют перехода на хозрасчет. А изменится ли что-нибудь? Вот если бы мы сажали больше, чем вырубали...

А что в самом деле мешает этому? Почему и нам не последовать примеру Швеции и некоторых других стран, где так дело и поставлено? Ухитряются же как-то там при увеличении объема лесозаготовок не только не уменьшать, а наоборот, приращивать свои

древесные ресурсы! А мы все как неразумные дети...

По мнению большого числа специалистов, если не навести порядок с вырубкой леса в горах на юге Кузбасса, область может остаться без воды. Найдется ли отважный человек, который волевым или каким-то иным способом сумеет преодолеть сложившуюся косную систему хозяйствования? Не пора ли также подумать и о том, чтобы пересмотреть местонахождение лесосырьевых баз в соответствии с экологическими требованиями? Тайгой наша область богата. Возможности для этого есть.

ФИНАЛ

Мы проплыли мимо деревни Тоз, которую переименовали для себя в деревню Эхо.

— Отдай мой хомут! — кричал, дурачился Саша Фатеев, вспоминая, наверное, Хомутовские пороги.

— Хомут... — где-то рядом отчетливо произносила широкая, как поднос, долина.

Позади были и Царские ворота с совершенно круглым сквозным отверстием в вершине скалы, напоминавшим бледное человеческое лицо, и внезапно надвинувшиеся на нас тяжелые горы с испуганным осинником, и вспыхнувший под лучами солнца памятник погибшим на порогах в 1961 году двенадцати школьникам...

Низкие галечные острова говорили о близости устья.

Вдали показался Сибиргинский разрез. Подплыли ближе: берега уже нет — сплошной отвал породы. И везде — бревна, железо... Лавируем, чтобы ни во что не врезаться. Какой-то грязный остров. Тракторы сталкивают бревна в воду, тут же заправляются горючим из катера. Капитан катера — добрая душа — подрулил к нашему плоту:

— Держитесь, ребята, правого берега. Левая протока перекрыта...

Опускаю ладонь в воду — как в чернила! Раньше хоть пальцы было видно.

— Мрассу!.. — кричит Саша.

Нет эха.

Экспедиция вторая

На 1989 год намечено перекрытие Томи. Уровень воды выше перемычки поднимется до отметки весеннего паводка. Окончательное заполнение водохранилища запланировано на весну 1990 года. Площадь его зеркала составит 67 тысяч гектаров. Протяженность 133 километра, максимальная ширина 13 километров. Объем 11,5 кубикометра. Под затопление попадают 22 населенных пункта, около 16 тысяч гектаров сельхозугодий.

(Из газеты)

МЕРТВЫЙ ОБЪЕМ

...Вот она, та незримая черта, за которой начинается зона затопления, начинаются далеко не обыденные проблемы. Подойдет время — и полетят тут в воду из самосвалов бетонные глыбы и камни — картина знакомая по многим кинофильмам...

«Мертвый объем» — то, что дальше. Такое странное наименование получил в деловых бумагах светлый простор, раскрывшийся пе-

ред нами. Серебрясь, расползаются по тальникам курьи, наплывают друг на друга зеленые сопки. Нет, не случайно селились здесь наши предки, отвоевывали трудом поколений плодородные пашни у тайги. Радостью, силой наполнена природа!

Одна курья называется Противная. Почему?

— Супротивная, так надо понимать, — объяснил ожидавшийся теплохода паренек. — На другом берегу, на правом, тоже есть ку-

рейка. Уж я-то здесь все облазил с удочкой, знаю... Родители у меня тут на пасеке, к ним добираюсь.

Особые, доверительные отношения возникали между незнакомыми людьми здесь как-то сразу...

Впрочем, не всегда. Когда возвращались назад, в той же курье Противной у нас произошла встреча с браконьерами, которые перегородили «иконками» и сетями каждую ее пядь. Казалось, нет кустика, с которого бы не свисали остатки лески или проволоки от всевозможных орудий лова. Они появились неожиданно — пятеро краснолицых, решительных на стремительной «тайдонке», отшвырнувшей к берегу наши поплавки.

Сразу же захотелось сменить место.

А клевало — будь здоров. Таскали окуней, ершей, сорожек. Азарт совсем разгорелся, когда из водоворота выбросило вверх брюхом и понесло вдоль берега полумертвую красноперую рыбищу. Но чем ближе мы продвигались к Зеленогорску, тем чаще возникала проблема с ухой. А попадавшиеся удильщики, показав на дне судка несколько выловленных за световой день хариусов, еще усерднее толковали о якобы появившихся в Томи экзотических породах типа сига...

И несло откуда-то из-под Новокузнецка в водных бликах рыбу, которая уже никому не нужна, даже птицам, и встречались выбившиеся из сил с ободранной чешуей окуни в ловушках из бревен на мелководе. Что уж тут браконьеры!..

В окрестностях двенадцатикилометровой Лачиновской курьи живут палаточным городком археологи из Кемеровского университета. Долго загостились мы у них. С любопытством наблюдали, как старательно они работали.

Сколько находок! 75 поселений, охватывающих эпохи от неолита до железного века открыто в среднем течении Томи. Груды пронумерованных тушью черепков глиняной посуды, каменных топоров, наконечников стрел...

— И пока ни одного могильника, — досадовала неутомимая Галина Семеновна Мартынова, руководитель хоздоговорной темы «Волна». — Видимо, наши предки, жившие в

третьем, втором тысячелетиях, хоронили умерших на деревьях или в... — Галина Семеновна чуть запнулась, — в воде...

Вспомнилось тут некстати — «мертвый объем»...

В НАШЕ ДОСЬЕ...

Дымное марево стояло над Салтымаковым. — Что это? — поинтересовались на берегу у первого встречного.

— Зона затопления, — как-то криво, безнадежно усмехнулся мужчина.

— Наверное, непригодный, нестройовой лес, сучья?..

— Разный. Миллионы рублей летят на ветер...

Как потом выяснилось — никто не подсчитывал, сколько чего сжигается.

Запасы древесины на участках, где производится лесосводка, составляют более двух с половиной миллионов кубометров. В том числе деловой, товарной древесины — более полутора миллионов. Неделовая ее часть идет на дрова для местных жителей, а сучья и прочие порубочные остатки — в костер.

Такое «утешительное» объяснение можно получить в дирекции строительства гидроузла. Выходит, что сжигается совсем мало? Но это не так. Ведь кроме лесосводки существует еще лесоочистка. По биомассе и по площади эти участки превосходят те, на которых растет строевой лес. Чем же отличается одно от другого? Если более 60 кубов деловой древесины на подлежащем вырубке гектаре — значит, лесосводка. Если менее — лесоочистка, то есть практически полное уничтожение всего. Не на лесосводке, а на лесоочистке, в основном, горят костры.

И кто придумал эту цифру — 60 кубов?

На берегу Серебряной протоки расположился временный поселок «Кузбасспелес», одного из трех подрядчиков, занятых очисткой ложа водохранилища.

— Поначалу, — рассказал здешний начальник Юрий Алексеевич Михайловский, — ничего не было организовано. Все сжигалось. Так, в районе Тайдона было уничтожено около 20 тысяч кубометров сосны. А сейчас никак не можем решить два вопроса — использования

березы при лесосводке и использования деловой древесины при лесочистке. Жалко все это предавать огню.

Но кто оплатит за полный объем работы по подготовке такой древесины к сплаву? И где взять силы? Уж гораздо легче — начислять людям зарплату, жечь солярку, гоняя груженный трактор к кострищу... Но экономно ли? В духе ли времени? Стоит над этим задуматься. А моральный ущерб, который наносит такая работа людям? Послушать — только и разговоров, что о тотальной бесхозяйственности.

Особенно заинтересовала береза. Из-за чего тут загвоздка? Оказывается, не доплывает она до Кемерова, где вылавливают из реки бревна. Чтобы береза не тонула, заготовители предложили ее сушить, ошкуривать, замазывать торцы гудроном. Нет, «Кемероволес» отказывается ее брать. Сплавщики, у которых нам пришлось скоротать одну ночь, приводили разные доводы насчет непригодности березы. Но о главном умолчали — не справляется сплавбаза с обилием бревен. Сколько леса остается зимовать на мелководье, сколько тонет, усугубляя и без того бедственное состояние реки.

Стыдно иногда бывает руководителям глядеть в глаза людям. Тогда приказывают они и березу штабелевать, готовить к сплаву. Попадалась нам эти штабеля. Но разве можно дать гарантию, что при такой постановке дела и они не превратятся в дым?

В самое широкое место будущего водохранилища, которое находится ниже Бычьего горла, спустился лесоповал. Главная особенность этих мест — березняк на березняке. И это значит, что тут будет жестокая неразборчивая лесочистка, еще выше поднимется зарево бессмысленной войны с природой. А от Салтымакова (оно неподалеку) — дороги есть. Что же может помешать вывозить лес, как подобает использовать то, что еще остается? Совхоз «Арсеновский», например, закупает березу. Идет она на строительство полов в коровниках, для иных целей. Иногда приезжают за березой люди из других хозяйств. Но заказчиков все равно мало. Как их привлечь сюда? Среди заказчиков нет ни одной

мебельной фабрики — предпочитают использовать деревоплиту... Вот и горят костры, зажженные еще до начала перестройки...

КАКАЯ ЖЕ ОНА, ТОМЬ

Судовой ход делает неимоверные петли. Сколько островов. В некоторых местах фарватер, отмеченный красными и белыми вешками, едва вмещает в себя габариты катера. Возле Ажендарова попадаем в сплошные водоросли. Попытались пробиться на медленном ходу — катер тут же повело в сторону. Потом долго срезали намотавшийся на винт клубок растительности.

— Водохранилище в миниатюре, — пошутил один из моих спутников.

В Ажендарове разместились «Биота» — исследовательская станция Кемеровского университета. На протяжении тринадцати лет тут проводится своеобразная экспертиза того, что делается. Изучаются прошлое, настоящее, животный и растительный мир Томи, прогнозируется будущее.

— Наши выкладки, — рассказал руководитель хозяйственной темы Сергей Петрович Россов, — теперь приходится учитывать при строительстве всех водохранилищ. Не всем они нравятся, так как ведут к дополнительным затратам. Но разве можно вычислить, во что обойдется нам гибель одного жука, бабочки, орхидеи?

Идея водохранилища, считает Россов, была несколько скоропалительной. Лучше было бы создать ряд небольших водохранилищ на притоках и с их помощью регулировать уровень.

— Лет через 25—30, — неожиданно произнес он, — водохранилище заилится, потеряет всякий смысл. Придется его спустить. Берега снова зарастут лесом. Но чтобы Томь стала полноводной, нужно уже сейчас подумать о водосборе, о воссоздании лесов, которые вырублены по Терсям, Тайдону и другим притокам. Обсуждается вопрос создания заповедника. Я полностью «за». Любая деятельность в этом районе должна быть запрещена...

Сколько хороших «должно» легло в нашу память после этих путешествий!.. Когда же они понадобятся обществу?..

...После экспедиции принесли собранные на Томи красивые камешки в политехнический институт.

— Сердолики, — река Мунгат, впадает выше Крапивина. Это — опалы, киноварь, яшма, уголь, агат, кристаллы кальцита, — определяли геологи, точно указывая места, где сделаны находки. — Нет, полезных ископаемых, за исключением цеолита и торфа, в промышленных масштабах не встречается, все уже разведано...

И только? Но о чем-то же говорят эти камни!.. О прошлом, о настоящем? Какая она, Томь? Не могут ученые ответить на этот вопрос, ссылаются на теорию о молодости, зрелости и дряхлости рек, говорят, что Томь выдохлась, уже не работает, только наносы свои перемывает. А хариус? Он же любит быструю воду. А течение? Зайдешь по грудь — валит.

— Томь — это Ангара по гидродинамике и другим параметрам, — заявили нам в Аженидарове.

Но и этому хотелось возражать. Потому что Томь — это все-таки Томь. Так чем же она примечательна? Неужели только мели и загрязнения определяют ее лицо, и там, где раньше стоял и отражался в воде зеленый лес, сейчас — все чаще голые берега, бревна и другие неблаговидные следы нашей деятельности? А может быть, не мы в реке отражаемся, а она — отражение нас? Если так, то все просто — Томь такая же, какие мы. Меняемся мы — меняется и она. Ее судьба — наша судьба. Если это так, то достаточно подойти к реке, чтобы все узнать о себе, о времени. А заодно подумать: кого же надо лечить — нас или реку?

ЭКОЛОГИЯ ИЛИ ЭНЕРГЕТИКА?

Думается, все-таки надо сделать некоторые выводы...

«Уникальное», «единственное в своем роде», «резервуар чистой воды», «самый крупный природоохранный объект»... Какие только рекламные ярлыки не навешивались на Крапивинское водохранилище более десяти лет назад, когда проект его появился на свет. Бы-

ли, конечно, и трезвые голоса, но к ним не прислушивались. Прошло время и стало очевидно, что объект отнюдь не уникальный и отношение его к охране природы весьма проблематично. Это вынуждены были признать даже проектировщики.

Не предусмотрены рыбопропускные сооружения. И значит, с рыбой фактически уже состоялась такая же расправа, как и с лесом. Никто не знает, как скажутся на качестве воды выходы месторождений киновари (сульфида ртути), бедные для промышленной разработки, но при затоплении способные отдавать в воду неизвестное количество опасных окислов, каким будет воздействие накопленных в ложе реки за предыдущие годы химических отходов и продуктов их распада, включая тяжелые металлы (до 600 ПДК по свинцу — данные 1975 года). Здесь уже говорилось о грязной Мрассу, которая впадает в Томь выше Новокузнецка. А сам Новокузнецк с его сумасшедшими сбросами? Даже если там будут построены необходимые очистные сооружения, все равно останется опасность попадания в Томь вредных веществ в результате аварии. Это случается довольно часто. Во что же превратится тогда водохранилище? А сельское хозяйство?.. Давайте посмотрим фактам в глаза. Миллион тонн органики ежегодно производится только в Новокузнецком и Осинниковском районах, и... лишь 10 процентов ее вносится в почву, остальное же скапливается в отстойниках, сталкивается бульдозерами и смывается дождями в многочисленные малые речки бассейна Томи. Известно, что течение реки выше плотины замедлится многократно. Не делаем ли мы работу противоположную той, которая описана в мифе об Авгиевых конюшнях? А гибель тысяч гектаров плодороднейших пойменных земель?.. А усиление влажности атмосферы Кемерово в сочетании с ее хроническим загрязнением?..

Сколько возражений! Некоторые замечания были высказаны еще в период работы над проектом. Но в институте «Казгидропроект» предпочли от них просто отмахнуться.

Сама идея водохранилища — разбавление стоков в большом объеме почти стоячей воды — признана ныне экологически нерента-

бельной. Почитайте газеты, журналы... «Прозатратная психология», «типичный образец линейной логики», «большой ватерклозет», «это все равно, что перекидывать мусор на балкон или заматывать его под диван», «это то же самое, что дымоход-небоскреб» и т. д. и т. п. Как только не изощряются по поводу подобных проектов авторы публикаций!

И резонно. Ведь где бы мы ни жили, мы не изолированы глухой стеной от мира. И если нам здесь, на месте, не удастся справиться с загрязнениями с помощью очистных сооружений, водооборотных систем, переработки отходов и прочего, то они, эти загрязнения, наверняка попадут во все океаны и моря. Убежден, что именно на очистку, внедрение малотехнологичных технологий следовало направить усилия, да и средства, которые вложены в Крапивинское водохранилище.

...У одного поэта прочитал такие стихи: «Мы живем, под собою не чуя страны». Действительно — что за странная ситуация?.. Мне много раз приходилось убеждаться в том, что люди строят какой-либо объект и сами подчас не верят в успех дела. Заказчики и проектировщики находятся за тысячи километров и тем не менее вершат судьбами наших рек и земель. Местная власть... Да что местная власть?! Любое дело имеет свою нравственную сторону. В истории же Крапивинского водохранилища явно проглядывает ведомственная корысть. Пора признать, что только нравственная экономика, экономика без дыма, который обходится в миллионы рублей, без топляков, без тех самых 60 процентов должна быть в социалистическом обществе. Пора ввести для любого проекта нравственную экспертизу.

Может быть, перестройка, всеобщий хозрасчет, переход на экономические методы хозяйствования, усиление территориальной власти приведут к тому, что наши с вами интересы будут наилучшим образом сочетаться с государственными?..

А пока не так все просто... Сторонники водохранилища из числа местных «москвичей» находят новые и новые доводы в его защиту. Некоторые их речи звучат почти анекдотично. Вот хотя бы два образчика...

— Грунтовые воды истощились (из-за шахт и разрезов — В. С.), подпор воды позволит сделать полноводнее малые реки...

— Со сдачей Крапивинского гидроузла появится возможность прекратить молевой сплав на Томи...

А как смотрят на дело сами проектировщики? Надо сказать — более трезво.

Вот, например, на что ссылается в своей статье «Кузбассу нужен гидроузел» главный разработчик проекта А. П. Новожилов (газета «Кузбасс» за 6 сентября 1987 г.): «После справедливых обвинений, которые выдвинуты против водохозяйственной науки в связи с проектами территориального перераспределения водных ресурсов, общественность страны настороженно относится к водной проблеме во всех регионах. Однако то, что сегодня в ходе публичных дискуссий выдается за экологическую образованность, вселяет большое недоверие. Ярким свидетельством того является волна критики в адрес гидроэнергетики...»

Стоп! Гидроэнергетика? С последнего места на первое! Запасной полк, находившийся до сего в засаде, брошен в атаку.

Вот и в дирекции Крапивинского гидроузла мне пришлось услышать речи, которые еще недавно могли бы показаться крамольными:

— Такая мощная река... Да она может вырабатывать в два раза больше электричества.

Вполне естественное недовольство. И при этом с ГЭС никакого наваара, сплошная фикция, если не вред, и для индустрии — мало. При этом, конечно, ни А. П. Новожилов, местопребыванием которого является Алма-Ата (институт «Казгидропроект»), ни местные «москвичи» не задумываются, нужна ли для перегруженного промышленного Кузбасса еще и гидроэнергетика, как это скажется на экологии, климате, здоровье людей.

В институт «Казгидропроект» я позвонил по поводу Южно-Кузбасской ГЭС. К телефону подзвали А. П. Новожилова, который является главным инженером проекта и этого гидроузла.

— Зеленых распустили, вот и шумят... — неудачно пошутил Александр Петрович, узнав, в чем дело. Я спросил, зачем нужно это во-

дохранилище? Александр Петрович привел три уже ставших привычными «бородатых» довода: для улучшения водоснабжения Новокузнецка, для улучшения санитарного состояния реки, для выработки электроэнергии. Как и в истории с Крапивинским водохранилищем, электроэнергия — на последнем месте, как нечто сопутствующее, дополняющее, делающее более экономичным проект, а вначале идут два «улучшения», сразу берущие за горло экологически настроенную публику:

— Вода чистая вам нужна?

Хор голосов:

— Нужна!..

Неужели когда-нибудь все снова повторится?..

...Путешествуя по Томи, нам приходилось возить с собой запас воды. Помнится, на обратном пути зашли снова в Салтымаково, чтобы его пополнить. Колодец оказался новеньким. Открыли крышку, и долго-долго летело вниз ведро...

Владимир Ширяев

УЛИЦА ВЕСЕННИХ СОБАЧЕК

...Тянет меня в горочку
непослушный Шарик, —
натянул веревочку,
как воздушный шарик.

Трепещет и волнуется,
веревочку порвал!
Ведь у собак на улице —
весенний карнавал.

Собачки, вы красивы! —
Упитанные, толстенькие.
О, как красноречивы
виляющие хвостики!

Вот этот гладкий той-терьер
любой украсит интерьер.

Такса бежит — она,
как телефильм длинна.

Плывет, как сейнер,
английский сеттер.

...Рассуждают подруги:
— С детства мысль меня колет:
за какие заслуги
нас и кормят и поят?

— Ты меня изумила!
Человек — это ведь
в эволюции мира —
тупиковая ветвь.

Он некрасив. К тому же —
сравнить его и нас —
он обоняет хуже
в десять тысяч раз!

— Сурова ты, однако.
Ты погляди вокруг:
все ж человек собакам
лучший друг!

...А к стенкам жмутся кобели
худые, словно кабели.
Сочувствую вам, шавки:
вы — будущие шапки.

Клянемся мы в любви к зверью
и сами в это верим.
Ну почему любовь свою
мы поровну не делим?..

РЕВИЗОРЫ

Мы на складки штор оконных
устремили скромно взоры.
Словно ветер, по вагону:
— Ревизоры! Ревизоры!

Важно ревизор садится
побеседовать с тобой.
И кокарда серебрится
на фуражке голубой.

Вот такую форму — мне бы!
И замечу я резонно:
если б я поэтом не был,
я бы стал бы ревизором.

Я б на этих шторах скромных
вышил яркие узоры
и цветов раздал бы ворох,
если стал бы ревизором!

Зайцам, бедолагам этим,
я б сказал: «Катайтесь всласть!»
...Но подходят. «Ваш билетик?»
Нету денег? Значит — слазь!»

СОСЕДКА

Блондинка. Трудится в торговле.
Юна. Живет одна.
и, как Бермудский треугольник,
Загадочна она.

Да, тайнами в квартиру эту
усеяна тропа.
Мой друг зашел за сигаретой
туда. И он — пропал.

Пропали многие. И, так как
товарищей мне жаль, —
я надеваю пестрый галстук
и новенький пиджак.

Пусть я погибну за науку,
но тайны все твои
сейчас раскроются. А ну-ка,
соседка, отвори!..

* * *

«Что ж, смена поколений
есть закон, —
сказал он, будто проглотив
микстуру. —

На семинар пришли вы косяком —
летите ж косяком в литературу!»

И мы взлетели дружным косяком!
И мир в глазах от счастья

двоился!

...А он с испытанным дробовиком
в литературных дебрях притаился.

